

ISS № 0130—3600

04935040
20241140330

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1983

2



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ГАЛАКТИОНУ ТАБИДЗЕ — 90 ЛЕТ

ТУРАМ ЕНУКИДЗЕ. Слово о поэте	3
НОДАР ДУМБАДЗЕ. Галактион	11
ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ. Стихи. Перевод Юрия Мосешвили и Зураба Ахвледзиани	19

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

РЕЗО ЧЕЙШВИЛИ. Ветер доносит музыку. Пере- вод Гины Челидзе. Продолжение	23
ЭНВЕР НИЖАРАДЗЕ. Стихи. Перевод Евгения Евтушенко, Натана Баазова, Ни- колая Лятошинского, Регины Ан- тоненко, Бориса Когана	54
ИЗ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ. Перевод Яна Гольц- мана	64
ГЕОРГИЙ ГУЛИА. Рассказы	73
ГАСТОН БУАЧИДЗЕ. Страницы жизни Мари Брос- се. Продолжение.	88

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ПАВЕЛ НЕРЛЕР. Свидание с великим городом .	135
СТАНИСЛАВ ЛАКОБА. «Крылились дни в Сухум- Кале...»	145

2

1983

ОЧЕРК

ЛУАРСАБ ЕГОРОВ. Новь орлиного края 171

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

ИВАН БЕЖАНОВ. Забытая публикация 178

ТАТЬЯНА ПОПОВА. Последнее счастливое лето.
Вводная статья Бориса Вереникина 190

ИСКУССТВО

АЛЕКСАНДР ФЕВРАЛЬСКИЙ, ИРИНА РАТИАНИ.
С. М. Третьяков и грузинское кино 203

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ГЕОРГИЮ ЦИЦИШВИЛИ — 60 ЛЕТ

РОМАН МИМИНОШВИЛИ, ИГОРЬ БОГОМОЛОВ.
Писатель, ученый, гражданин 218

ХРОНИКА 222



Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Галактиона Табидзе, продолжают свое триумфальное шествие. 25 января 1983 года литературная общественность столицы нашей Родины чествовала поэтического гения грузинской культуры.

Мы публикуем выступление секретаря ЦК КП Грузии Гурама Енукидзе на юбилейном

вечере в Москве, в полном зале Дома Союзов, речь председателя правления Союза писателей Грузии, лауреата Ленинской премии Нодара Думбадзе на торжествах в честь 90-летия Галактиона Табидзе в Тбилиси, а также новые переводы стихов выдающегося поэта современности.

Гурам ЕНУКИДЗЕ

СЛОВО О ПОЭТЕ

В ИСТОРИИ каждой национальной культуры есть имена, значение которых выходит за рамки конкретного времени, потому что имена эти олицетворяют собой дух народа, становятся неотъемлемой частью его самосознания. Народ же, как известно, сохраняет в своей памяти только объективно значимые явления.

Таким явлением для грузинской культуры и для всей советской литературы был и остается Галактион Табидзе, входящий в плеяду самых выдающихся поэтов Грузии.

Память о живом Галактионе еще не покрылась патиной времени, оно, по выражению Маяковского, еще не успело навести «хрестоматийный глянец» на жизнь и деятельность поэта — ведь всего двадцать три года отделяют нас от его кончины.

Но мы вправе сегодня, не ожидая суда потомков, говорить о выдающемся значении Галактиона Табидзе

как истинного реформатора в поэзии, так как уже не одно поколение грузинских поэтов следует по проторенному им пути.

Мы во весь голос можем говорить о Галактионе как о пламенном поэте революции — ведь он был одним из первых среди советских поэтов и первым в грузинской поэзии, открывшим новую, революционную страницу взволнованными поэтическими откликами на октябрьские события в Петрограде и Москве, очевидцем которых ему посчастливилось быть.

Мы смело можем говорить о высокой гражданственности и гуманизме лирики Галактиона, этого, как сказал Николай Тихонов, «поэта-мудреца, благословляющего жизнь», так как и здесь он остается образцом честности и непримиримости, человеколюбия и верности идеалам добра.

И, наконец, мы уже сегодня можем говорить о творчестве Галактиона как о большом социально-культурном явлении в нашей духовной жизни, явлении, обретающем с годами все большую значимость, расширяющем масштабы своего влияния, становящемся общенародным достоянием, несмотря даже на объективную преграду, которую, как ни парадоксально, всегда представляет для поэзии породивший ее язык.

Впрочем, языковой барьер не помешал рождению удивительно емкого и, пожалуй, всеобъемлющего для характеристики Табидзе образа, принадлежащего замечательному русскому поэту Михаилу Луконину. Всего два слова — «галактика Галактиона» — и мы представляем мир поэта в истинно галактических масштабах, где, как в космическом звездном скоплении, противостоят свои центробежные и центростремительные силы, свершается рождение новых миров и где властвует единый центр тяготения, организующий вокруг себя стройное, закономерное и вечное движение.

Такова поэтическая вселенная Галактиона.

Являясь одним из основоположников грузинской советской поэзии и будучи активным новатором как в области формы, так и в направленности тематики, Галактион Табидзе не был, однако, подвержен влияниям характерных для времени его становления модернистских течений и группировок, хотя и принимал поначалу участие в их движении.



Всей своей поэтической практикой он отвергал декларативные догмы. Спокойно и мудро, каждой своей строкой утверждал он неразрывность лучших национальных поэтических традиций с современностью, мастерски сочетая революционный дух новаторства с традиционным для грузинской поэзии романтико-патриотическим пафосом.

Показательно, что повеишая грузинская поэзия выбрала в лучших своих проявлениях именно этот путь.

Народность, гражданственная принадлежность поэтического слова, ее заостренная социальная направленность были для Галактиона Табидзе, как и для его великого собрата Маяковского, понятиями весьма конкретными и постоянно наполняли своим живым, интенсивным биением пульс его произведений.

Свой призыв к коллегам по поэтическому цеху — «поэт, отмечай, отмечай время: год, день, час, минуту» — Галактион сделал и собственной творческой программой. Вот почему книги его стихов есть, по существу, летопись эпохи с точно определяемыми по времени этапами, даже если речь идет о лирике сугубо интимной: и, вместе с тем, книги эти найдут своего адресата в будущем, ибо временные категории здесь художественно обобщены, подняты до высоты идеалов, обращены вовне, как напряженные нравственно-философские раздумья лирического героя «о времени и о себе». Таковы его «Знамена», «Несколько дней в Петрограде», «Джон Рид» и другие произведения, посвященные конкретным событиям и впечатлениям.

Первым в поэзии обратился Табидзе к образу Ленина. Его «Корабль «Даланд» положил начало грузинской лениниане.

Показателен для характеристики Табидзе как поэта и гражданина период, когда он, одухотворенный очистительной бурей революции, возвращается в Грузию, где меньшевистский режим создал удушающую, кризисную обстановку. В этой атмосфере, на фоне тревожных настроений времени лира Табидзе накаляется до драматизма, социальная струя в его поэзии поднимает еще более глубокие психологические пласты и, открытая всем ветрам лирика Галактиона обретает мятежный голос.

Сравнивая поэзию с морем, где властвуют приливы и отливы, бури и штили, сам поэт честно и на самой высокой ноте откровения отразил весь свой истинный переживаний, духовного самоуглубления путь, результатом чего стали такие поэтические шедевры, как «Синие кони», «Луна Мтацминды», «Я и ночь», «Снег», «Лазурь» и другие стихотворения, представляющие собой поистине антологию всех движущих человеком переживаний и чувств.

Даже в кризисные моменты жизни, когда его лиру окрашивали интонации скорби и печали, вера, поддерживаемая силой его духа, освещала ровным негасимым светом предстоящую дорогу.

Из всех грузинских поэтов Галактиону, пожалуй, единственному удалось с такой силой и пластичностью воплотить в поэтическом слове великую романтику революции и всесторонне прочувствовать ответственность миссии литературы в утверждении революционных свершений. В победоносном шествии Октября Галактион видел начало новой эры человечества, эры раскрепощения народов.

В первые же годы победы Советской власти в Грузии Галактион Табидзе обратился к художественной интеллигенции со словами: «Вы, поэты, художники, артисты, писатели, сможете ли прочувствовать все это, как того требует современность? Я призываю вас, герои, призываю молодежь, охваченную творческим огнем, понять и полюбить голос новой Грузии».

Глубина и многосторонность поэтического дара Галактиона, труднодоступного исчерпывающему охвату и, как каждое большое художественное явление, вовсе не поддающегося однозначным оценкам, требуют дальнейшего серьезного осмысления, решительно отделенного от вкусовщины и тенденциозности, предвзятых, умозрительных схем. И здесь действительно необходимо расстояние во времени.

Но сейчас бесспорно и ясно одно: Табидзе был, остается и будет в первую очередь поэтом истинно национальным в самом широком понимании, поэтом истинно народным, если мы вложим в смысл этого слова само табидзевское требование — «будь готов дать народу отчет»; и — что главное — поэтом «с головы до ног», рожденным для поэзии и провозгласившим «поэзию

прежде всего», как образ жизни, как форму своего человеческого, общественного бытия.

В восприятии современников Галактион Табидзе в первую очередь поэтом-интернационалистом, поэтом-патриотом очень широких воззрений и взглядов.

Его интернационализм и патриотизм, восходя еще к десятым годам нашего столетия, когда Табидзе в аллегорической форме призывал «неведомую деву» — Россию развеять нетерпимую более мглу, был пронесен поэтом, как гордое знамя, через баррикады революции, стройки первых пятилеток, годы Великой Отечественной войны и послевоенного возрождения.

Только тот, кто не мыслил свое бытие вне судьбы народа, страны, мог написать такие строки: «Мы, поэты, связаны со своей эпохой прочной и неразрывной цепью, с веком наравне мы ведем борьбу за претворение в жизнь величественных и лучезарных целей, разделяем с ним горе и радость». Важно подчеркнуть, что слова эти — не декларация, не официальное обращение с высокой трибуны, а строки, взятые из личной записной книжки поэта, занесенные туда, как никому не подотчетное внутреннее убеждение, жизненное кредо.

Интересен — опять-таки для оценки широты и многогранности этой натуры, этой воистину громадной и во всем необычной личности, — такой факт. По существу, всецело погруженный в поэзию, подчиняющий даже обыденные обстоятельства поэтическим, образным оценкам, лирик по природе своей, блестящий версификатор, постоянно державший руку на пульсе свершений мировой поэзии, Галактион Табидзе не только находил время для активного участия в повседневной жизни, но, более того, был постоянно в эпицентре событий, так же мгновенно и чутко, как в своей поэзии, реагируя на малейшие колебания барометра общественной жизни.

Член ЦИКа Грузии, действительный член республиканской Академии наук, член Президиума Первого Всемирного антифашистского конгресса в Париже — вот красноречивые свидетельства его общественного веса и авторитета.

Общественную трибуну и свой авторитет народного поэта республики, одного из первых кавалеров ордена Ленина Галактион Табидзе использовал опять и опять для утверждения и провозглашения своей твердой по-

зиции в постоянной борьбе. «Нам нужна литература, активно борющаяся за новую жизнь, за идеалы пролетарской революции. Это — главное», — утверждал и призывал он.

Выступая перед представителями мировой общественности в Париже в 1935 году, Галактион Табидзе счел необходимым специально подчеркнуть: «Я приехал из страны цветущей, где наука и искусство, все художественное и прекрасное стало потребностью и достоянием широчайших масс. Я приехал из страны, в которой налицо беспредельные возможности для выявления и расцвета талантов и гениев, где яркой новизной дышит все».

И он не только бесконечно верил в эти возможности, он служил их осуществлению всей своей жизнью и своей поэзией.

Вот почему опубликованное в преддверии юбилея Галактиона Табидзе слово о поэте товарища Шеварднадзе Эдуарда Амвросиевича заключают такие итоговые строки: «Галактион так же неиссякаем, как и душа народа, так же бессмертен, как и породивший его народ, так же прекрасен, как сама Грузия! Слава его имени и поэзии!»

Вот почему грузинский народ с благоговением хранит и пронесет с собой во все времена любовь к Галактиону.

Вот почему его огромное и бесценное наследие является предметом постоянной партийной, государственной заботы; ведь расцвет грузинской советской культуры, ее растущие масштабы, приобщение широких масс к лучшим ее достижениям уже сами по себе являются фактором воспитующим, ибо в этом мы воочию видим реальное отражение мудрости ленинской национальной политики партии, ярко свидетельствующее о том, как сказал Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Андропов Юрий Владимирович, что «в братской семье успешно раскрывают свои возможности все нации и народности...»

О личности и творчестве Галактиона Табидзе сказано и написано немало, несмотря на считанные годы, прошедшие после ухода поэта из жизни.

Растут тиражи его книг, которые тут же по выходе в свет становятся у нас библиографической редкостью.

Растет резонанс его поэтического слова среди ценителей поэзии всех народов нашей страны. Не случайно замечательный советский писатель Чингиз Айтматов определил Табидзе место в ряду тех поэтов XX века, которых «жизнь расставила указателями путей нового движения мировой поэтической мысли». Отрадно, что русские поэты и мастера перевода — вслед за Пастернаком, Симоновым, Антокольским, Тихоновым, Заболоцким — ощутили притяжение галактионовой галактики, и лучшие творения Табидзе с каждым днем расширяют круг его почитателей среди любителей поэзии всей нашей страны.

Наш низкий поклон и благодарность за это литераторам России и всех братских республик, которыми движет не только дань уважения к таланту грузинского поэта, но и любовь и братство советских народов, общая забота о развитии национальных культур, являющаяся святой заповедью нашего интернационального единства.

Такая тенденция взаимообщения и взаимообогащения будет все более развиваться по нарастающей линии в соответствии с курсом нашей партии на развитие духовного богатства каждой нации и народности нашей великой Родины. Незыблемость этого курса еще раз со всей определенностью подчеркнута на торжествах 60-летия образования СССР: «...открыть всем людям еще более широкий доступ ко всему лучшему, что дает культура каждого из наших народов».

В этом году мы торжественно отметим 200-летие со дня подписания Георгиевского трактата — первого манифеста дружбы и братства русского и грузинского народов. И мы уверены, что это празднество выльется в еще одну яркую демонстрацию нерушимости братского союза свободных и равных народов Страны Советов, которому Галактион Табидзе посвятил пламенные строки:

**Какое счастье, что возник
Такой союз сердец!**

Этот «союз сердец» есть не что иное, как поэтическое отражение беспрецедентного в истории челове-

чества результата решения национального вопроса, который был и является одной из самых жгучих и актуальных социальных проблем. Этот «союз сердец» особенно значим и велик в своем историческом значении на фоне сегодняшнего обострения национальных противоречий в странах капитализма, нагнетания в них национализма, шовинизма и расизма. Этот «союз сердец» есть фундамент несокрушимой цитадели нашего могущества и социального оптимизма. Этот «союз сердец» был и будет всегда вдохновляющим лейтмотивом творчества грядущих поколений, к которым обращали и которым завещали свою веру и верность лучшие представители нашей социалистической культуры, и в том числе наш Галактион Табидзе.

Галактион Табидзе покойся в Тбилиси, в Пантеоне Мтацминда — рядом с Николозом Бараташвили, Ильей Чавчавадзе, Акакием Церетели, Важа Пшавела, Александром Грибоедовым. И мы твердо верим, что настанет день, когда Галактион Табидзе займет свое место в пантеоне мировой поэзии.

Мы счастливы, что его память сегодня вместе с нами чествуют москвичи, среди которых его собратья по перу; мы горды сегодня, что здесь, в столице нашей Родины Москве, звучит имя Галактиона Табидзе как родного сына всей нашей необъятной страны, звучит во весь голос его поэзия.

Однажды здесь же, в Москве, Галактион Табидзе поднялся из зала и произнес прекрасный экспромт-посвящение, закончив его такими словами:

**Я хотел бы всю Москву осыпать
Лепестками цинандальских роз...**

Пусть же вечно здравствует и процветает воспетый Галактионом великий и прекрасный интернациональный «союз сердец»!

ГАЛАКТИОН

17 марта 1959 года неожиданно умер Галактион Табидзе.

Все средства информации, существовавшие тогда в республике, передали эту ужасную весть. Начался бесконечный поток траурных объявлений, постепенно вылившийся в великое море скорби, которое все увеличивалось и увеличивалось, пока не затопило села и города всей Грузии: скорбящая Грузия оплакивала Галактиона.

Скорбящая Грузия извещала о смерти Галактиона.

Галактион шагнул из окна четвертого этажа больницы. Одни полагали, что он покончил с собой, другие — что в состоянии экстаза совершил опрометчивый шаг, иные думали, что, будучи в агонии, выбросился из окна, другие же — бог знает что еще...

В действительности же произошло следующее:

Галактион взошел на Парнас — он покорил неземную вершину. Ни ледоруб, ни кошки, ни веревка не подвели его. Он уже давно находился там, и поскольку гении с покоренных вершин не возвращаются, все отныне бесполезное, ненужное ему он сбросил вниз, а сам остался в вечной обители среди равных ему.

Кто знает, может быть, он поспешил, не учел, в какой ужас ввергнет его почитателей эта его акция, но как упрекнешь в поспешности человека, когда еще заявившего:

И мне яснее ясного, что скажут

Далекие потомки обо мне.

(Перевод Г. Маргвелашвили).

Любой поступок такого человека рассчитан, даже тот, которому, казалось бы, нет оправдания.

Литературоведы делят творческий путь Галактиона на множество периодов: символизм в творчестве Галактиона, импрессионизм в творчестве Галактиона, романтизм, мистицизм, пессимизм, классицизм и под конец соцреализм...

А мне кажется, что творчество Галактиона делится на два основных периода: первый — когда он вроде нас с вами писал обыкновенные стихи, и второй — когда он начал писать стихи необыкновенные.

Это случилось в 1919 году. Тогда родились его артистические стихи, тогда он стал «жизни отголоском», тогда, подобно Акакию Церетели, стал посредником между народом и богом и сделался достоянием попеременно то неба, то земли.

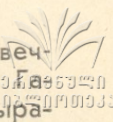
Это тяжкое бремя в истории грузинской поэзии творец впервые возложил на Руставели. Руставели, подобно квазару, обладающему мощным магнитным полем, вобрал в себя весь существовавший до того времени фольклор, эпос или мифы, рассеянные по горам и долам, пронес их через лабиринты своей души и возвратил народу в виде бесценного золотого слитка — «Вепхисткаосани».

Вслед за Руставели эта миссия выпала на долю Давида Гурамишвили, после него титанический труд взвалили на себя Акакий, Важа и Илья, и когда в двадцатых годах двадцатого столетия в это тяжкое ярмо впрягся и Галактион Табидзе, ноша уже была настолько отяжелена сокровищами национальной и мировой литературы, что ему пришлось тянуть ее, подобно яремному быку, упав на колени; да, так вот, стоя на коленях, обливаясь потом, с застывшими в глазах слезами тянул он свою лямку. Только с учетом этого, только под таким углом следует изучать творчество Галактиона.

Галактион — единственный в Грузии поэт, изучая стихи которого не надо бояться анахронизма. Обратите внимание, только к концу творческого пути раскрыл он свое кредо и метод:

Лиру держа на груди
Так, как мне хочется...

(Перевод подстрочный).



Именно так, как хочется; в этих словах — вечная мечта творцов всего человечества, но только Галактион смог так сжато, просто и несравненно выразить ее. Только он мог написать эти строфы:

Высекло здесь ремесло
 Дивную фресок поэму.
 Благоговейно сплело
 Время из них диадему.
 Кто же тебя расписал!
 И по узорам зеркал
 Искры свои разбросал
 Костер — Никорцминда!

(Перевод М. Синельникова).

Галактион еще при жизни осознал свое бессмертие, однако несмотря на это оставался человеком, и потому трагизм и тревога, сквозящие порой в иных его письмах или стихах, чисто человеческие, то есть чувства обыкновенного человека, еще не постигшего собственного бессмертия...

Гляжу, над куполом облака плывут,
 О, времена, времена...

(Перевод подстрочный).

И далее его экклезиаст:

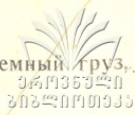
Хоть распни себя — спасения нет, нет и нет...

(Перевод подстрочный).

Это удивительно походит на сомнения проповедника, в тридцать три года взошедшего на Голгофу: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?..» И когда Галактион понял, что время для него не существует, что он сам обратился во время, что не подвластен ему, он произнес:

Жизнь моя ярка, струится, как янтарное вино.
 Догорит она — исчезнет лучезарный ореол,
 Но в народе стихотворца честь и славу я обрел,
 Без которых на забвенье в мире все обречено.
 И несется колесница жизни так же, как неслась.
 Поднимать бокал заздравный не устану я — за вас,

Для которых вдохновенье — лишь страстей никчемный груз,
Я за прошлое спокоен, будущего не боюсь.



(Перевод И. Квачаха).

С большим вниманием читаю я книги и исследования о творчестве Галактиона, слежу за изучением первоисточников, определенным образом трансформировавшихся впоследствии в его произведениях. Много из того, что делается, заслуживает внимания, но еще большее требует осмотрительности, чтобы не обвинить автора в том, о чем он и не помышлял и не слышал. В подобных случаях автор ведет исследования в пределах своей образованности, а то, что происходит за ними, остается покрытым тайной.

Как угнаться за ветром, бушующим в творчестве Галактиона? Бушующим с такой силой, что он перелистывает страницы и может даже вырвать книгу из рук. Чтобы этого не случилось, надо прижать ее к груди, как икону или драгоценный амулет.

Семьдесят лет творчество Галактиона, подобно его же крошечному стихотворению «Вот какой солнечный сон», читается шиворот-навыворот и никогда или очень редко правильно; это, очевидно, вызвано тем, что каждый, в том числе и я, конечно, считает Галактиона своим поэтом и читает его по-своему. Именно поэтому Галактион — поэт народный.

Вот почему, наверное, ни у кого в грузинской поэзии не было столько эпигонов, сколько у Галактиона; вот почему, наверное, ни у кого в грузинской поэзии не было столько недоброжелателей и завистников. Целые поколения ждали и по сей день ждут своего часа, чтобы примериться своими ладошками к его открытой, как сердце земли, огромной, теплой ладони, а он, благословенный, лукаво улыбаясь, взглядом подбадривает: да, брат, твоя взяла...

Все вышесказанное, каким бы парадоксальным оно ни казалось, проистекало только в силу его божественной непостижимости и поразительной простоты, демократизма. Он сам был в этом «виноват».

Я знаю, если начать цитировать стихи Галактиона, уже не остановишься, поэтому по мере сил воздерживаюсь от цитации, но все же не могу не вспомнить одно стихотворение:

Безвестный месх, я стихи слагал.
И сколько в прошлом дорог ни легло, —
Мой стих меня раньше солнца сжигал,
А солнце раньше стихов сожгло.



(Перевод П. Антокольского)

Эти строки вызывают удивительную ассоциацию с историей преобразования Кришны в Махадеву, ту историю, когда осмелевший Арджуна дерзнул бросить Кришне — яви нам Махадеву в его божественном совершенстве.

Галактион думал, что он написал стихотворение о Руставели, в действительности же это было не так. Галактион написал о самом себе. И то, что это не мой домысел, я сейчас докажу: «Руставели я помню ребенком», — говорит он в одном из своих стихотворений, и в памяти всплывает одна из молитв Гелатской богородицы и эпитет к ней — о, создательница создателя. Это именно тот генетический код, с помощью которого память передается по наследству. Потому Галактион и помнит детство Руставели, иначе эту строку объяснить невозможно.

«Когда Галактион перешел на рельсы соцреализма и когда встал на нашу платформу?» — такой вопрос задавали нам в школе преподаватели литературы.

Мне кажется, Галактион вообще не сидел в поезде, за исключением того единственного случая, когда он спросил свою соседку по купе:

Уже в тоннель войти пора бы —
Не испугаетесь ли вы?

(Перевод Г. Маргвелашвили)

Все остальное время

Как раненый барс в теснинах скал,
По всей стране столько дней и лет
Скитался я и мечту искал, —
Безвестный месх, иступленный поэт.

(Перевод П. Антокольского)

Да, он скитался по родным полям, перед ним несли табун синих коней, и он, погоняя их, восклицал:

На состязание коней, на состязание коней!
На состязание коней, летите, кони синие...



საქართველოს
ქრონიკა

(Перевод подстрочный)

И когда все это показалось ему эфемерным, он вдруг увидел, как «восходит светило в багровом наряде...»; его душа так истосковалась по свободе, что он, как Амиран, выпрямился во весь рост, подняв и Кавказский хребет, к которому был прикован, и прогрохотал:

Светает! Сплотитесь, сплотитесь, сплотитесь!
Знамена! Знамена, знамена скорей!

(Перевод И. Квачахиа)

И все же, когда он стал пролетарским писателем? Может быть тогда, когда Илья Чавчавадзе воззвал к отвернувшейся от будущего, дрогнувшей нации:

Убьем в себе тоску по прошлому,
Мы должны сейчас идти за иной звездой,
Мы должны сами создать себе будущее,
Мы должны дать будущее народу...

(Перевод подстрочный)

И тут возникает ощущение, будто один богочеловек передал слово другому, столь естественным продолжением предыдущих строк кажутся следующие:

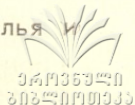
Мы же станем — во имя отчизны —
Там, где огненный ангел простерся.
Новым дням отдаем свои жизни
Мы, грузинской земли стихотворцы...

(Перевод П. Антокольского)

Вот так становится поэт на сторону народа, вот так пишутся пролетарские стихи и создается пролетарская поэзия.

Я могу поклясться, что эти стихи написаны одним человеком. Отсюда вывод: пролетарский писатель не обязательно должен быть пролетарием, но непременно должен быть любим пролетариатом. Кто же они, эти пролетарские писатели? Конечно же, Руставе-

ли, Гурамишвили, Бараташвили, Важа, Акакий, Илья
Галактион.



Строки Руставели:

Ты раздай богатство бедным, возврати рабам свободу.
Надели сирот несчастных, обреченных на невзгоду...

(Перевод Н. Заболоцкого)

могли украсить знамя пролетарской революции и конституцию любой страны.

Является ли творчество Галактиона глубоко национальным? Литературоведы утверждают, что оно испытало влияние декадентской и символистской литературных школ Западной Европы и России двадцатых годов.

Что значит влияние?

Не надо забывать, что творчество всех гениев — явление одновременно и земное и небесное. Оно, как атмосфера, объемлет всю землю, одинаково питает все живое на ней и в свою очередь принимает к нему, как к живительному источнику. Они дышат дыханием друг друга. Поэтому нет на земле ни одной человеческой страсти, настроения, мелодии, гармонии, которые не пульсировали бы в творчестве Галактиона, не жили бы в нем. Поэтому я и сравнил его с Кришной и Руставели. Потому он похож на всех и вся.

Боже упаси, если бы это было не так, но главное все же то, что Галактион сказал о самом себе:

Синегривый конь горячий, топот мерный, всадник первый.
Кто, когда, какую клячей обогнать меня грозил?
Кто скакал со мною вровень? Я — поэт до нитки нерва.
Разве я хоть каплей крови, хоть кровинкой — не грузин?

(Перевод Е. Квитницкой)

Нет искусства без преклонения. Гете говорил, что всегда считал мир гениальнее его собственной гениальности. Поль Валери считал Гете наименее сумасшедшим из людей. То же можно сказать и о Галактионе.

Жизнь гениев полна парадоксов. Они подчас суетятся, хлопочут, тратят массу времени, лишь бы стать

обладателями солидных личных дел и отмеченных знаками отличия анкет. А потом начинается обратный процесс: без следа исчезает из анкет все, порою даже фамилия и отчество. И под конец остается только имя, всеобъемлющее имя и больше ничего.

Мне известны пока пять таких счастливых имен в Грузии: Шота, Илья, Важа, Акакий и Галактион.

Сегодня мы говорим о Галактионе. К нему невозможно подойти вплотную не потому, что он непостижим, нет, совсем не потому; а потому, что он — действующий вулкан, до поры до времени он дремлет, и бог знает, когда проснется...

Как на Светицховели надо смотреть с Армази, Джвари или Зедазени, а на Алаверди — с Сигнахи или Кавкасиони, чтобы до конца прочувствовать их величие, так и на Галактиона надо смотреть с высот Руставели, Гурамишвили, Бараташвили, Акакия, Ильи и Важа. Не то мы действительно можем потерять его в лабиринтах западноевропейских литературных школ и течений, как потеряли под толстым слоем извести, покрывшей стены вышеупомянутых храмов, драгоценные гениальные национальные фрески.

И все же кто был и кто есть для нас Галактион?
Если вспомнить его же слова о том, что:

На небосводе без любви нет солнца,
в самом бессмертии нет смысла без любви,

если вспомнить, что любовь есть бог и если с нами любовь, то с нами бог, мы поймем, что Галактион — возродившийся и вознесшийся к самому солнцу ген Руставели.

* * *

Когда нам мгла уже немоготу,
Цветок неведомый и белый
Предчувствуют вдали и ждут
Поэты Сакартвело.

Неведомая дева — ты приди
И полюби мечту в долготерпенье,
И будь сестрой... Как верный паладин,
Мы преклоним колени.

1916 г.

НЕ ОСТАВЛЯЙ СТИХА В СИРОТСТВЕ

Летá не сами спешат в Лétу —
мгновение каждое бьет в набат.
Грешно стихи оставлять поэту
сиротами — без адресов и дат.

Такое, бывало, гнило семя?
Такие ль теряли шаг в смуте?
Поэт, отмечай, отмечай время —
год, день, час, минуту!

Не только годы уходят в небыль...
Каждой строфы каждая строчка
может вобрать в себя быть,
может остаться многоточьем.

Творят историю серп и молот:
косим старье, куем новое,
индустриального времени всполох
зажег стихотворное слово.

Не только годы уходят в небыль...
Мгновенья тревожно бьют в набат,
если позволить стиху быть
сиротой — без адресов и дат.

1931 г.

Песен звонкокрылость
на времен вершине
новый день как милость
бережет отныне.

Рук простых творенье,
гордое творенье!
Моего народа
Ода — Никорцминда!



1947 г.

Перевод Юрия МОСЕШВИЛИ

СИНИЕ КОНИ

Словно дымка марева под закатным заревом,
Берег рдел оранжево в сонном крае вечности.
Сгибли обещания в пустоте молчания —
Глушь и увядание, холод бесконечности.

В том краю забвения и оцепенения
Лишь одно томление, скорбь и сокрушение!
В мрачном подземелии — без души и зрения —
Тщетны ожидания радости спасения!

Лица ошалелые, пни окостенелые,
Дни опостыленные — в вихре перевоздания.
Сонные видения — кони мои синие —
Мчат в мои владения — час настал свидания!

Времени течение зрю без сожаления,
Чужды мне волнения, слезы умиления!
Сгибли вождения, словно привидения,
Как души смятение в пламени моления.

Как огня брожение, как судьбы гонение,
В неумемном рвении мчатся кони синие!
Не цветов цветение и не сновидения —
В вечном погребении жди успокоения!

В мире том мы чуждые, ближнему не нужные,
Голоса натужные гложут в беге времени.
Нет нам утешения в царстве изумления,
Спят химеры дивные в лабиринтах темени!

Лишь лучей сплетения — вечные свечения —
В знойном иступлении ярко разгораются.
Лица ошалелые, пни окостенелые,
Дни опостыленные гибнут и рождаются!



А во мгле затмения, в том краю забвения,
В мертвом сне иль бдени, роком окаянные —
Как морей волнение, как судьбы гонение,
В неумном рвении мчатся кони синие...

Перевод Зураба АХВЛЕДИАНИ

ХРОНИКА

ГАЛАКТИОНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВЫШЕЛ в свет специальный выпуск газеты «Заря Востока», органа ЦК Компартии Грузии, Верховного Совета и Совета Министров Грузинской ССР, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося грузинского советского поэта Галактиона Табидзе.

В номере напечатана статья Э. А. Шеварднадзе «Слово о Галактионе» и редакционная статья «Вдохновенная миссия художника».

Под рубрикой «Революционер в жизни, революционер в поэзии» напечатаны статьи председателя правления Союза писателей Грузии, лауреата Ленинской премии Н. Дум-

бадзе, поэта-академика, Героя Социалистического Труда И. Абашидзе, академика Академии наук Грузии Г. Джибладзе, секретаря правления Союза писателей республики Т. Чиладзе.

Интересны высказывания советских писателей о Галактионе. О творчестве поэта, о его вкладе в сокровищницу мировой поэзии собраны высказывания М. Горького, Б. Пастернака, Н. Тихонова, К. Гамсахурдиа, Д. Клдиашвили, С. Чиковани, Г. Леонидзе, Г. Асатиани, Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко...

В специальный выпуск газеты также включены «Вехи жизни и творчества» Галактиона, интересные фотодокументы, подборка стихов Г. Табидзе, «Из выступлений поэта».

ВЕТЕР ДОНОСИТ МУЗЫКУ

Резо ЧЕИШВИЛИ

БОЖЕ ХРАНИ МЕТЕХИ!

Был солнечный февральский день. На северной стороне крыши и на земле вдоль ограды все еще лежал снег. Ко мне зашел мой одноклассник Угрехелидзе и предложил пойти с ним в театр.

— Меня не отпустят, — сказал я немного погодя.

— Почему?

— Не знаю.

Я и в самом деле не знал почему.

До войны я был в театре один-единственный раз — меня взяли на вечернее представление. Ярко освещенный зрительный зал, обитые бархатом кресла и нарядно одетая публика произвели на меня впечатление гораздо большее, нежели сам спектакль. Очевидно, тогда я вскоре заснул, а разбудили меня поздно, поскольку в памяти моей сохранились блеклые картины лишь первого и последнего актов. Мне даже трудно было представить, что и сейчас, в наши дни, существует где-то помещение с таким же ярким освеще-

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ

Продолжение. Начало см. «Литературную Грузию» № 1 за 1983 г.

нием, какое запомнилось мне с того времени. А если и есть нечто подобное, то вряд ли меня в моем ^{убогом} одеянии впустили бы туда по одному лишь ^{желанию} Угрехелидзе. Все это, как видно, заставило меня призадуматься, а мама вдруг, вопреки ожиданию, отпустила меня и безо всяких колебаний выдала деньги на билет.

Я вместе с Угрехелидзе отправился в театр.

Зал был переполнен ребяташками, одетыми во что попало. Было шумно, как в школе на большой перемене.

Я вроде бы узнавал и в то же время не узнавал запечатлевшийся в моей памяти мир театра.

Погас свет, и неосознанное чувство блаженства овладело мной с такой силой, что и позднее, спустя многие годы, оно все еще по-прежнему тревожило мне душу. С шелестом поднялся занавес, и с погруженной в полумрак сцены подул ветерок, повеяло таинственностью.

Угрехелидзе шепнул мне на ухо: «Видишь эту церковь?»

— Вижу.

— Это церковь Метехи. Она взорвется, только не скажу когда.

Видимо, он говорил правду, так как смотрел этот спектакль уже много раз и взрыв церкви, да к тому же Метехи (тогда я еще не знал, что такое Метехи), наверное, был делом нешуточным. Лучше бы он не сообщал об этом вообще. Каково мне было вынести звук взрыва, ведь если кто-нибудь при мне собирался выстрелить из ружья, я уже заранее умирал со страху. Еще до того, пока стрелявший нажимал на курок, душа моя словно куда-то проваливалась. И сейчас мне хотелось заткнуть уши, но было как-то неловко. По существу я не столько боялся выстрела, сколько томился в ожидании его. А здесь, оказывается, производят взрыв церкви, более того, взрыв порохового склада. Надо же было такое пережить! На сцене становилось все напряженнее, сердце у меня сжималось.

Сулейман: — Откуда ты знаешь эти сказки, Рукайя?



Рукайя: — От старух, мой повелитель. Прикажи, и я поведаю тебе о любви морского царя и гурии.
 Зейнаб (играет на пандури. Звуки его полны страсти).

Рукайя: — ...и смоляные волосы красавицы волнами струились по ее жемчужному телу. Лишь раз вздохнула красавица царица, разметала волосы и... (раздается звон колокола. Сулейман встает, Рукайя испуганно лхнет к нему).

Сулейман (зовет страшным голосом): — Кара-Юсуп!

Кара-Юсуп: — Великий повелитель, всего один раз ударили в колокол.

Этот единственный удар в колокол сильно взбудоражил меня (и Сулейман был не менее встревожен), а что же будет, когда взорвут Метехи!

В антракте Угрехелидзе сказал, что обманул меня. —...Метехи взорвут в пятом акте, но когда именно, не скажу...

Не скажешь и не надо, черт с тобой, подумал я. Как-нибудь дотерплю до пятого действия, если он, конечно, снова не наврал мне. А вдруг этот грохот начнется где-то в третьем или четвертом акте.

Зрители, включая моих сверстников и даже тех, кто был младше меня, сидели спокойно. То ли они не знали, что Метехи взорвут, то ли уже однажды смотрели эту драму и заранее смирились со всем, что в ней происходит.

Спектакль захватил меня целиком, и я успокоился; но в том, что Метехи непременно взлетит в воздух, сомнения не оставалось.

Исахар: — Боже, храни Метехи! Метехи храни, господи!

Сулейман (оборачивается и пристально смотрит ей в глаза): — Что ты сказала?!

Исахар: — Я сказала — храни Метехи.

Сулейман (хватает ее за руку): — Говори, старуха, если что знаешь!

Куда это меня привел Угрехелидзе! Ему-то что, он просто помешан на этих взрывах и выстрелах; вот, оказывается, из-за чего он ходит в театр. Его и в кино

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

нельзя заманить, если он не уверен, что в фильме будет война и пальба.

Проницательный Сулейман уставился в глаза хитроулыбавшемуся Угрехелидзе, который с хитрым пронизывающим взглядом, Угрехелидзе же украдкой посматривал на меня. Он заранее наслаждался. Я делал вид, будто мне все ни о чем. Пусть хоть потолок обрушится, не дам ему порадоваться, не хочу быть осмеянным в классе. Что такое, в конце концов, эта Метехи! Взорвется она или нет, какое мне до этого дело. Думая об этом, я снова обратил свое внимание на сцену, забыв и об Угрехелидзе, и о взрыве, и вдруг услышал какой-то звук, словно где-то далеко лопнула электрическая лампочка. То, что на сцене купол церкви как-то смешно съехал набок, я увидел сразу же, но лишь позднее до моего сознания дошло, что это, оказывается, и есть взрыв Метехи.

— Плохой был взрыв, сегодня у них что-то не получилось, — уверял меня Угрехелидзе после спектакля. — Нет, это не то! Ты бы слышал, что было раньше...

Чуть возбужденный, чуть восхищенный и все-таки разочарованный возвращался я домой. Услышанный мной в тот вечер треск, по мере того как проходило время, в памяти моей звучал как раскаты грома. Страшным грохотом вспоминались мне звуки выстрелов. Блеск картонных доспехов, жестяных касок и шлемов, а также свет рампы слепили глаза; стоны раненых и причитания слышались мне перед сном. Все ненастоящее казалось настоящим, реальным, существующим вне времени и пространства...

После окончания войны в театр на должность взрывника, или пиротехника, если говорить современным языком, назначили одного фронтовика по фамилии Мелкадзе. Работал он там долгое время и, как говорится, возложенное на него обязательство и совмещенное с этим обязательством дело (ему еще было поручено заведовать реквизитом) выполнял добросовестно.

Спустя много лет после истории со взрывом Метехи я как-то встретился за столом с взрывником Мелкадзе. Произнося тост за его здоровье (надо же было сказать ему что-то), я сказал:

— Вы непревзойденный мастер своего дела, вас просто дар производить взрывы и выстрелы.

— Все это ерунда, — ответил мне Мелкадзе, — бутафорская пальба. На войне я был минометчиком, все об этом знают. На Курской дуге, хотите верьте, хотите нет, когда горела земля под ногами и плавилась камни и железо, железным прутом я воровал картофелины.

СНАРЯД

МЕНЯ отправили в деревню поездом. Через несколько остановок я должен был сойти вместе с односельчанами, которые еще на вокзале взялись опекать меня.

Был ясный солнечный осенний день, время ноябрьских каникул. Сойдя с поезда, я нарочно стал отставать от попутчиков, хотя должен был следовать за ними по пятам. Те, видя, что их подопечный не сбивается с пути, с легким сердцем оставили меня одного на проезжей дороге.

Набив карманы камешками, я стал оглядывать зорким взглядом охотника ветки деревьев. Попутно смастерив себе рогатку, начал стрелять в птиц и в лупоглазых лягушек, ютившихся в придорожных лужах. Свернуть с пути я не решался, так как впервые один, без взрослых шел по этой дороге.

Помимо рогатки я захватил с собой в деревню еще каучуковый мяч и, что самое главное, противотанковую пулю, вернее, снаряд такой величины, что пазуха у меня обрывалась. Пулей это, конечно, не назовешь.

Три таких снаряда принес Угрехелидзе в школу. Один из них отдал мне, другой — Харбедиа, третий оставил себе. Где он их взял, не спросили у него ни я, ни Харбедиа. За день до этого он приволок в школу саблю. Большую настоящую кавалерийскую саблю в черных ножнах. До начала урока он спрятал ее между партией и стеной; во время же урока проверял, видна

она или нет, при этом он столько ерзал по парте, что учительница зоологии насторожилась, что-то заподозрила, тщательно осмотрела парты и в конце концов обнаружила и отобрала саблю. «Я случайно захватил ее с собой из дому», — божился обезоруженный Угрехелидзе.

— Что значит «случайно захватил»! Сабля ведь не булавка, — удивлялась тогда учительница зоологии.

Прошагав семь километров, гоняясь за птичками и лягушками, усталый и измочаленный добрел я до деревни матери и вошел в знакомый мне двор, где не застал никого, кроме двоюродного брата, моего сверстника.

Все остальные — женщины, дети и дедушка были на работе, кто в поле, кто на пастбище; а двоюродный брат, прикинувшись больным, остался дома. В тот момент, когда я появился, он раскачивался на ветке черешни.

И рогатка, и каучуковый мяч ему понравились. При виде снаряда глаза у него чуть не вылезли из орбит. Не с пустыми же руками мне было ехать в деревню, и могло ли быть что-нибудь лучше этого снаряда!

Мы решили его взорвать. Несомненно, это был самый настоящий снаряд. Положили мы его на плоский камень, направив острием в сторону врага. Набрали побольше шифера, подняли шифер на крышу хлева и сбросили вниз. Но никак не сумели попасть в мишень, установленную у основания стены. В конце концов нам надоело таскать камни наверх, карабкаясь по веревочной лестнице, и мы придумали другой, более удобный способ взрыва.

Для этого необходим был огонь. Конечно, если бросить снаряд в зажженный очаг, успех обеспечен, но зная, что это чревато последствиями, мы предусмотрительно решили разжечь огонь в конце двора. Сначала мы сгребли в кучу сухие ветки, положили сверху снаряд острием к врагу, как и полагается, насыпали сверху хвороста и разожгли костер такой, какой обычно разжигают на краю виноградника в предпасхальный четверг, чтобы отвадить нечистую силу.

А сами, действуя по правилам, отбежали в сторону, подальше от полигона.

Пылает костер, потрескивают сухие каштановые ветки. Ничего не взрывается, ничего не гроыхает, ничто не нарушает полуденную тишину деревни.

— А может быть, он не настоящий? — неожиданно спросил меня двоюродный брат.

Я растерялся. Будь я проклят, от этого Угрехелидзе можно ждать чего угодно!..

— Огонь слабый... — проговорил я смущенно, и сразу же грянул взрыв. Но какой это был взрыв! Мурашки пробежали по телу. Дружным собачьим лаем отозвалась на этот взрыв деревня. Снаряд полетел не туда, куда мы целились, а свернул в сторону, вправо, сбил ветку яблони всего в двух шагах от нас.

— Что вы взорвали сегодня в полдень в винограднике? — как бы между прочим спросил дедушка во время ужина.

Мы притихли, оробели. Интересно, кто мог нас выдать, кто мог нас увидеть в полдень на краю виноградника?

— Наверное, этот полоумный Какоия дал им аммонал...—проговорил дедушка и больше не проронил ни слова. Не любил он разговаривать во время еды.

Когда начались занятия в школе, Угрехелидзе подошел ко мне и сказал: верни мне противотанковую пулю, а взамен я дам тебе три гильзы, две с порохом, но без пистонов, а одну с пистоном, но без пороха. Если тебя это не устраивает, подарю тебе две пустые ручные гранаты и впридачу одну слезоточивую, только одна из этих гранат без рукоятки. А противотанковый снаряд, говорит, «прошу пожаловать обратно» (так он и сказал). Как мог я «пожаловать обратно» то, чего у меня уже не было. На предложение принять гранату без рукоятки я обиделся, но промолчал, настроение у меня испортилось, и Угрехелидзе расчувствовался. Ладно, говорит, ничего мне не нужно, пошли, я тебе что-нибудь подарю или одолжу. Он хотел меня обрадовать, но мне почему-то расхотелось пользоваться имеющимся у него арсеналом.

Угрехелидзе окончил субтропический факультет сельскохозяйственного института, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию на степень кандидата.

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

Встретил я его в Анасеули. Хочу, говорит, сделать тебе что-нибудь приятное, как быть? Что он мог сделать мне приятного, когда оба мы были приглашены в одно и то же место. Он пополнял, пояс не сходил с него на животе. Я сказал ему, что мне ничего не нужно и чтоб он оставил меня в покое. Но он не отстал, заскочил куда-то, вынес оттуда обернутый в фольгу чай и закинул мне в машину.

Вечером на банкете хозяин вынес к столу телячью лопаточную кость и попросил всех оставить на ней свои автографы. Все мы поочередно расписались на кости. Мой одноклассник на самом видном месте, словно бы небрежно, но довольно отчетливо вывел: «доцент Угрехелидзе».

СИНЯЯ ПТИЦА

ДЕРЕВНЯ наша расположена на склоне горы. По краю села проходит лощина. Река, образуя излучину, огибает скалистые берега, не спеша, спокойно журчит вдоль обрывов и отлогих скал, медленно течет, оставляя позади себя разбросанные там и сям поля и пастбища. Скала, изогнувшись дугой, обхватывает русло реки. Образовавшиеся в скале сланцевые ступени издали напоминают собой лестницу; а если подойти поближе, можно увидеть, что это всего лишь узенькие длинные терраски.

Вершина скалы представляет собой плоскогорье, по ту сторону которого находится другая деревня. Сколько раз приходила мне в голову мысль взобраться на скалу, перейти оттуда в деревню, которую я еще ни разу не видел вблизи, и вернуться назад по тропинке, которой обычно на закате возвращаются с работы домой крестьяне, так и не додумавшись хоть раз подняться на скалу.

Я же решил подняться, а если человек принял решение, надо его осуществить.

Итак, один-одинешенек, сопровождаемый лишь белой собачкой, кончик хвоста и ухо у которой были черными, приблизился я к крутой отвесной скале.

Легко, без особого труда достигли мы середины скалы; зато подниматься чем выше, тем становилось

005940
20250110033

труднее, и это озадачило меня и заставило призадуматься, но отступать не хотелось. Я стал медленно продвигаться по карнизу слева направо. Собачка шла следом. Дойдя до середины карниза, я поднялся чуть выше и снова двинулся вправо. Собачка не могла уже идти дальше. Немного помешкав и в конце концов правильно оценив свои возможности, она повернула обратно; не спеша, тем же путем спустилась вниз, примостилась у подножия скалы и, задрав морду вверх, уставилась на меня в ожидании, чем же наконец завершится мое восхождение.

Я снова медленно иду по карнизу. При малейшей возможности поднимаюсь выше, и так шаг за шагом, двигаясь по спирали, покоряю уступы.

Я понимаю, что мое скалолазание добром не кончится, но какая-то сила толкает меня вперед, вверх к незнакомым, неведомым местам. Рыхлая горная порода уже рассыпается у меня под ногами, летят вниз камни. Страх овладевает мной, дрожат колени. Я остановился, не могу сдвинуться с места, ни вперед, ни назад. Едва различаю где-то внизу землю. Собачку уже не вижу. Скорее всего, она оставила меня здесь одного и затрусилась в сторону дома. Валяется, наверное, сейчас под деревом, высунув язык, как ни в чем не бывало. Даже знать никому не даст, где она меня бросила. Стою и не знаю, как быть. Крикнешь — никто не услышит, а услышит, какой от этого толк! Кто тебе поможет? Мои сверстники сюда не поднимутся, а взрослого эта порода не выдержит.

Просто не хватает терпения, а то, если подумать как следует, здесь все-таки можно и постоять, и чуть-чуть поразмяться. Я даже сумел повернуться и прислонился спиной к скале. Я увидел гору по ту сторону реки; гору, над которой парила синяя птица.

Склон горы весь зарос кустарником, а на вершине зеленел луг. Я видел, как кружила синяя птица над пронзительно-зеленым лугом. Широко раскинув крылья, то плавно, словно не шевелясь, опускалась она вниз, а то вдруг сразу, почти незаметно, взмывала вверх. А потом снова опускалась, скользя над травой, подобно клочку тумана, и снова взмывала в небо.

Резо Чейшвили. Ветер донсит музыку.

Кружила птица над горой, вершина которой была гладким шелковистым лугом. Ястреб был это или коршун, я не мог разобрать. Видел только, что эта синяя птица. Синие сверкающие крылья и белая грудь ее переливались под солнцем в лазури, над мягким зеленым лугом.

Уже спустя время часто устремлял я свой взгляд не к скале, где застрял однажды, а к той самой горе, над которой парила синяя птица. Гора напоминала мне курган, и я смотрел на нее каждый раз, когда солнце всходило, и тогда, когда оно садилось. Мне хотелось подняться туда, но я не поднимался. Не делал этого потому, что взобраться туда ничего не стоило; да и не следовало, наверное. Чему быть, того и так не миновать. Подняться можно всегда. Не сегодня, так завтра, а не завтра, так все равно когда-нибудь. А та гора или курган существуют и во мне, и вне меня и по сей день. Помню, как стоял я тогда над пропастью, словно слившись со скалой, как боялся этой пропасти и как смотрел на вершину горы, которая была мягким зеленым лугом.

Всякий раз при воспоминании о той горе и о птице, кружащей над ней, трепет охватывает меня, неясное чувство страха овладевает мной. И по сей день то во сне, то наяву вижу я парящую в солнечной лазури синюю птицу, черная тень которой, подобно вылетевшей из кургана душе, скользит по гладкой поверхности горы.

АВТАНДИЛ

КАЖДОЕ лето нас, ребяташек, набиралось в деревне иногда человек семнадцать; и не так уж редко бывало, когда все семнадцать внуков дедушки Сопрома садились ужинать у очага, в котором постоянно, и зимой, и летом, трещал огонь.

Дети и внуки ушедших на фронт сыновей и зятьев собирались в доме дедушки. Девять из них находились при нем постоянно, остальные приезжали из разных деревень, а мы из города. Глава семьи не делал различия между домочадцами и приезжими. Все у него без исключения работали. Кто на чайной план-

тации, кто на пастбище, кто в поле, а кто дома. Один пас коров, другой коз, третий водил коня на водопой. Девочки помогали взрослым собирать чай. Одни носили в поле еду, другие присматривали за младшими, сердились на них, а порой даже и поколачивали.

Самым старшим из нас был четырнадцатилетний Автандил; впрочем, может, ему было и меньше. Для своего возраста он был достаточно высок ростом и довольно серьезен. Быков запрягал без посторонней помощи. Работал и в колхозе, и на ферме, и на сенокосе. Почерневший от солнца, необычайно худой и не по летам мудрый, он уже не играл с нами, сердился из-за нашей беспечности, постоянно злился и всех вокруг поучал. Даже женщины, невестки и дочери Сопрома, уважали его, и не только уважали, но и побаивались. И тем не менее в один прекрасный день Автандил заявил своей бабушке: «Наши гости много едят и мало работают». Бабушка чуть с ума не сошла, стала распекать внука, бросилась прикрывать ему рот ладонью, чтобы никто его слов не услышал, но Автандил продолжал твердить свое уже во всеуслышание. Особенно он взъелся на одну из невесток, у которой был больной ребенок и которая обычно поднималась сюда, в деревню, не только летом, но и в зимние месяцы. Нельзя же, мол, без конца находиться в гостях, возмущался Автандил.

...В нашем большом семействе атмосфера накалилась. Женщины перегрызлись безо всякой причины. Одна сказала слово, другая второе, и пошло и поехало. Страх перед дедушкой и уважение к нему заставили их в конце концов угомониться, но прежнего доброжелательного отношения друг к другу уже как не бывало.

Рано или поздно дело это все-таки раскрылось. Глава семейства обо всем догадался и нещадно отколотил старшего внука.

Не хватало, говорит, чтобы ты считал и распределял куски в моем доме, — кипел и возмущался старик. И, наверное, впервые в жизни ему сделалось плохо с сердцем.

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

...Я видел, как он шарил в шкафу, как дрожащей рукой налил из бутылки водку, выпил ее и не вернулся ночью домой. Наверное, заночевал в шалаше на участке. Ушел, оставив все семейство в состоянии крайней напряженности. Все члены семейства молча, бесшумно постелили себе постели и улеглись спать. Автандил не плакал. Только временами всхлипывал и надтреснуто кашлял. Мать втихомолку ласкала сына, подтыкала ему одеяло.

На следующий день, еще до восхода солнца, дом наполнился привычным гулом. Каждый приступил к исполнению своих обязанностей. Один вел коня на водопой, другой гнал корову, третий—коз, кто-то, брюзжа и бормоча себе что-то под нос, нехотя тащил еду в поле. Взрослые сердились и покрикивали на маленьких. Одновременно слышалось шлепанье ладоней по вымени, мычание теленка, блеяние овец, журчание стекающего в бадью молока. Малыши плакали, те, что постарше, кричали, слонялись по дому безо всякого дела. Один лишь Автандил молча сидел на лестнице, уставившись в землю. Никто не решался заговорить с ним. Завтракать он не стал, даже не прикоснулся к еде. Мать тайком уговорила его выпить стакан молока. Автандил вытер губы, сплюнул и сказал мне, чтоб я шел с ним на мельницу. Оказывается, днем раньше он отвез туда мелево. Не дожидаясь очереди, он взял и отправился в другую деревню. Быков еще до рассвета погнали на пастбище, и он собирался притащить муку на себе. Я, и не подумав ему возразить, отправился вместе с ним: из всего отряда ребяташек он выбрал именно меня, нельзя было не оценить этого.

Пошли мы с ним пешком по выжженной солнцем дороге, беседуя между собой. Автандил снова завел разговор о тетке, жене нашего дяди, и о ее больном ребенке. Не представляю, говорит, себе, как это можно все время находиться в гостях. Ну, ладно, говорит, приезжай отдыхать летом, ну, бог с тобой, осенью, но еще и зимой?!

Он делал особенный акцент на слово «зимой», как видно, придавая этому исключительное значение. Осуждал бездельников и лентяев. Говорил, что сейчас война, что рушится мир, жить трудно, трудно прокор-

миться и следует, говорит, быть посознательнее, не смотреть в рот другому, и тому подобное. Упрек этот относился и ко мне, и к членам моей семьи, но я молчал, не в силах ему возразить, и поневоле слушал его и следовал за ним расстроенный и обескураженный. А дорога все не кончалась, и никак не иссякали тема разговора и попреки Автандила.

Наконец мы подошли к мельнице. Кукуруза была уже смолота. Для таскания ее было многовато, для еды — мало. Автандил ворчал, что взяли много муки за помол. Поворчав, поделил муку на две части. Большую взял себе, меньшую оставил мне, и мы пустились в путь.

Полдень. Жара. Ни один листочек не шелохнется. Не умолкая трещат цикады. Пар поднимается от пересохшей красной земли, на которой остаются четкие следы босых ног.

Пот ручьями стекает с меня, колени подкашиваются, под тяжестью мешка сгибаюсь в три погибели.

Я останавливаюсь в тени нависшего над оградой дерева, опускаю ношу на землю и, присев рядом, едва перевожу дух. Автандил, намного опередивший меня, оглянулся и тоже остановился. Ничего, говорит, отдохни немного. Он тоже опустил ношу вниз, но не стал искать прохлады и тени, остановился прямо на солнцепеке, и я понял, что он недолго здесь собирается отдыхать.

Снизу подул ветер, зашелестели ободренные листья старой яблони. Повеяло прохладой, дышать стало легче, но Автандил не дал мне передохнуть.

Давай, говорит, пошли. Мешок он ловко перекинул через плечо, наподобие переметной сумы, и пустился по дороге.

Мысленно я проклял день своего появления на свет и засеменял следом. Потом я снова остановился и снова присел. Через каждые сто шагов я останавливался и отдыхал, бессмысленно смотрел по сторонам, отводя взгляд от потерявшего терпение Автандила. Туман застилал мне глаза.

«Стемнело, поторопись!» — то и дело покрикивает Автандил, будь он неладен. А как стемнело, когда солнце еще в зените!

Я чувствую, что он думает, будто я ленюсь и специально медлю, не может он понять, что мне просто трудно. Ему кажется, что плетется за ним беззаботный дармоед да еще плюс ко всему заставляет его терять время.

Не знаю, что со мной случилось, но неожиданно произошло нечто странное — у меня вдруг прошла усталость, ноша сделалась совсем легкой, словно кто-то другой вселился в меня, я прибавил шагу, догнал и перегнал Автандила.

И вот уже он следует за мной и подбадривает меня окриками:

— Молодец, вот это да, давай, давай!..

Под эти одобрительные возгласы я здорово вырвался вперед, оставив далеко позади себя нашего Автандила. Он окликнул меня, предложил отдохнуть.

— ... Куда же ты, еще ведь рано, до ночи далеко!

«Я тебе отдохну!» — подумал я, ощущая в себе неожиданный прилив сил.

Сейчас я уже не помню, не хотел я тогда остановиться или же просто не мог. Одно лишь знаю, что понемногу я ускорял шаг и постепенно терял из виду изумленного спутника, уже откуда-то издалека подававшего мне голос, в котором слышалась мольба. Постой, кричал он мне вслед, что это с тобой происходит, ну что ты за человек, остановись хоть ненадолго!

Я не останавливался.

— Оглянись! — просил он меня. Я не оглядывался.

— Не оставляй меня одного, не покидай, — вдруг неожиданно заорал он голосом отчаявшегося человека. Страшная паника овладела им, я не мог понять, отчего он так ополоумел. Можно подумать, что без меня бы он заблудился или его бы съел волк. Мне стало жаль его. Я остановился. Опустил ношу.

Он еле доплелся до меня. Сбросил с плеч мешок и присел тут же рядом, тяжело дыша. Немного отдохнув, он успокоился, перевел дух и спросил:

— Ты зачем так мчался? Гнались за тобой, что ли? Я не ответил.

— Что за болезнь у Джумбера, не знаешь?

Он спрашивал о больном двоюродном брате, которого летом, осенью и «даже зимой», случалось возили в деревню. Откуда куда перескочил! Сначала спросил, зачем я мчался, а потом заинтересовался болезнью Джумбера.

— У него что-то с легкими, — объяснил я. Сгустив краски, довольно непонятно описал я ему симптомы сложной болезни.

— Ему надо много есть! — глухо сказал Автандил и притих. Задумавшись, сидел он молча какое-то время.

— ...Если с ним что-то случится, нам и жить незачем будет... — сказал он сам себе и снова замолчал. — А меня никто не жалеет, — добавил он спустя некоторое время. — ...Я-то всех люблю... Потому, наверное, и никто не жалеет меня... Все хотят есть, а где возьмешь столько!

Автандил съежился. Уперся локтями в колени, головой уткнулся в ладони.

...Было жарко. На обочине дороги, уткнувшись головой в ладони, сидел очень худой, черный от беспрерывно палящего солнца, думающий о превратностях судьбы, усталый Автандил.

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОДА

Н 1 РАЗУ не уезжал я из деревни с пустыми руками. Хотел я этого или не хотел, но каждый раз мне непременно вручали небольшую корзинку и узелок. Конечно, что могло быть приятнее, чем привезти домой фрукты, зазернутый в листья тыквы молодой сыр или пеламуши, но дотащить все это до поезда не так уж легко. Все-таки очень неудобно нести корзину. На спину ее не взвалишь и не понесешь в руке, как чемодан. На плече ее долго нести невозможно, ведь при этом надо непременно просунуть руку в ручку корзины и тогда через короткое время затекает локоть. И так в нескончаемой дороге ноет то одна лопатка, то другая.

Иду я как-то раз, навьюченный корзинкой и узелком, усталый, изнемогающий от жары. У мостика Хуцизули мне повстречался попутчик — мальчишка, мой сверстник; брел он из деревни, расположенной по ту сторону реки. В руках у него ничего не было, не считая бутылки с водой, к закупоренному горлышку которой была привязана веревка. Так он и шел с болтающейся на веревке бутылкой в руках. Иногда он перекидывал бутылку за спину, словно бы это был мешок.

Счастливым человеком, подумал я о нем, — идет себе, горя не знает. Захочет пить, отойдет из горлышка, освежит ладони водой из бутылки и снова в путь. То, что на каждом шагу журчал родник и что этой родниковой воды было сколько угодно почти под каждым кустом, я как-то упустил из виду.

Мы заговорили друг с другом. Побеседовали о том, о сем. Кое-что рассказал он, кое-что я, и мы даже не заметили, как дорога кончилась. В пути он помог мне тащить ношу. Я взял у него из рук бутылку с водой, а он у меня корзинку и узелок. Так мы дошли до станции.

Куда несешь эту воду, спросил я у него до того как прибыл поезд.

— Домой....

Он сказал мне, что вода эта, между прочим, не простая, а железная. Я, говорит, каждое воскресенье везу ее для больного дедушки. Я и раньше слышал, что деревня их славилась лечебными водами, а потому не стал удивляться.

— Знаешь, как зовут моего деда?

Откуда мог я знать, как зовут его деда.

Не знаю, говорю.

— Его зовут Нове, он уже не встает с постели, совсем не может ходить, раньше он ходил хорошо. Привези, говорит, мне кислую воду моей деревни. Выпью ее и вылечусь. Так он каждый раз говорит, и вот, видишь, я везу ему...

— А помогает?

— Еще бы. Такой воды нет в целом мире...

Я уже совсем по-другому стал смотреть на своего нового знакомого. Проникся к нему безграничным уважением, и к чему скрывать, даже позавидовал ему. Вот бы и мне, думаю, заняться таким добрым делом.

Разве не лучше вместо этих яблок везти живую воду, сказал я себе.

Вскоре прибыл поезд. Мой попутчик, этот **прямо** так святой человек, не отходил от меня ни на шаг в битком набитом вагоне, сначала помог мне втащить туда поклажу, а потом найти место.

Мы вышли в тамбур. Вагоны соединялись старыми буферами и сообщались друг с другом мостиками; на одном из них мы и стояли, свесившись с железных поручней.

Поезд, набрав скорость, промчался мимо высохших чайных плантаций, мимо желтеющих холмов и ушел по берегу Цкалцитэла, когда этот мальчик выпустил из рук бутылку с живой водой, просто швырнул ее вниз. Бутылка ударилась об сверкающий рельс и разлетелась вдребезги.

— Что ты сделал? — спросил я его, ошеломленный и встревоженный.

— А я всегда так делаю, — пояснил он.

— Как это ты так делаешь? — спрашиваю я.

— Очень просто. Каждую пятницу отправляюсь в деревню и возвращаюсь вечером в воскресенье с бутылкой воды. Туда еду с пустой бутылкой, а домой возвращаюсь вообще без бутылки.

Ничего я не понял.

— ...Эту бутылку я каждый раз наполняю водой, только за ней надо спускаться не к источнику Нашала, а лучше всего свернуть у развалин крепости, правда, дорога туда плохая, но зато вода там настоящая железная. Поднимаюсь туда, наполняю бутылку этой водой и как только поезд начинает мчаться на полном ходу, швыряю бутылку вниз и... бац! Разлетается вдребезги... Слышал, какой был звук? Бац! — Глаза у мальчика сияют от восторга. — Только горлышко надо закупорить как следует. От тряски набираются газы, вот-вот сама лопнет, тогда-то и надо швырнуть ее об рельс, и бац!..

Разбитый болезнью старик, дедушка Нове, поручал ему: «Привези мне целебную воду моей деревни, выпью ее, поправлюсь и встану на ноги». Внимательный

звук помнил просьбу бабушки, пренебрегая нашальской водой, поднимался на крепостную стену, наполнял там бутылку, как он говорил, железной водой, тащился с ней по длинной дороге, пройдя долгий путь, втискивался в набитый людьми вагон, а потом прицеливался в сверкающий рельс, и бац! Взрывалась наполненная газом бутылка, разлеталась на мельчайшие осколки.

Зачем он ездил с этой бутылкой, зачем разбивал ее...

Не жаль ему было ни воды, ни бутылки, ни больного деда и ни нового своего знакомого, у которого на всю жизнь тоской осела в сердце эта история с целебной водой.

После этого я уже нигде не встречал этого мальчика. А может, и встретил где-нибудь — и не узнал...

Интересно, какая участь постигла этого разбивающего бутылки мальчишку, и кто знает, какая роль была страдена ему в человеческой комедии.

УМЕР СОЛДАТ

Был ветреный день. Пора листопада. До моего слуха донеслись звуки музыки.

Я выглянул в еще не застекленное окно в недостроенной части дома, оперся о пустую раму и увидел необычную процессию.

На грузовике с откинутыми бортами, покрытом черной материей, везли солдата в гробу. Возможно, он был и выше чином, но для мирного населения, небольшими группами высыпавшего на улицу, это был солдат.

За машиной следовал военный духовой оркестр, сопровождаемый отрядом с винтовками наперевес.

У покоившегося на грузовике солдата были сложены на груди восковые руки. Заметно бросалась в глаза худоба его длинных пальцев.

Солдаты умирают только на войне, так мне казалось. Наверное, и этот был ранен на войне, потом эвакуирован в тыл и скончался в госпитале. Его, раненого на фронте, хоронили в тылу. Хоронили спокойно, полуторжественно, полуофициально, и от всего

этого ощущение смерти было не таким острым. Вид его вызывал чувство жалости и сострадания не только потому, что он умер, а еще и потому, что умер он в городе, где обычно не умирают солдаты. Никто не оплакивал его. Не было родных и близких, идущих за гробом. Участники процессии шли за ним лишь только потому, что так было надо. На равнодушных лицах солдат, вернувшихся с фронта или отправлявшихся на фронт, запечатлелось чувство исполняемого долга и сознание необходимости церемониала.

Оркестр играл без воодушевления, дул ветер, рассыпая музыку по улицам, по переулкам и закоулкам. Дуновение осени рассеивало и приглушало звуки оркестра настолько, что казалось, будто музыканты просто так, для виду, не по-настоящему дули в инструменты. Стоило ветру стихнуть, как в воздух врывалась четкая мелодия, потом она снова по воле ветра уходила то вправо, то влево, то вдруг исчезала совсем, до самой последней ноты.

Меня позвал товарищ. Пошли, мол, с нами за процессией. Говорят, на кладбище будут стрелять.

Я почему-то отказался.

Остался в насквозь продуваемом доме, стоял у незастекленного окна и перебирал в памяти всех близких, ушедших на фронт. Погибнут или уцелеют, вернуться или нет, гадал я про себя. Кончится наконец эта война или будет длиться до бесконечности... Не может этого быть, чтобы старшим, взрослым людям, затеявшим это сражение, не надоело наконец беспрерывно истреблять друг друга. Перед глазами у меня были длинные восковые пальцы солдата, и звуки духового оркестра доносились уже издалека.

Ветер мчал эти звуки то вправо, то влево, то вверх, то вниз, то с шелестом проносил их с пылью по самой земле, а потом сметал их всех вместе ноту за нотой и снова рассеивал по сторонам.

Эта сумбурная музыка сопровождала солдата, который умер в городе, где обычно не умирают солдаты. Возможно, что и при жизни он был несчастливым и неудачливым человеком, и смерть его оказалась такой же абсурдной, как рассыпаемая ветром музыка.



ДАЖЕ самые незначительные изменения двойны население угадывало безошибочно, в каком бы глубоком тылу оно ни находилось.

Положение на фронте улучшилось, сделалось стабильнее, и в наш город привезли первую партию пленных.

У товарной платформы остановился длинный эшелон.

Весть о прибытии пленных распространилась в городе с молниеносной быстротой. Люди кинулись к платформе. Худые, небритые пленные стояли у окон товарного вагона, у раскрытых настежь дверей с железными решетками, и тоже с любопытством разглядывали толпу встречающих. Было видно, что они уже покорились судьбе и на их побледневших лицах не осталось и тени страха перед неизвестностью.

Горожане хмуро смотрели на непрошенных гостей, на врагов своих детей, мужей и близких. Вот они, захватчики и насильники. Они — и вроде бы не они. В конце концов пленные были похожи на обыкновенных людей; сделав такое открытие, удивленные и обманутые в своих ожиданиях горожане один за другим покидали перрон. Одни уходили, другие приходили. А к полудню даже налачился контакт между двумя противоположными лагерями и, что самое удивительное, а вместе с тем и естественное, женщины даже принесли им еду. Что могли они принести, когда самим ничего было есть, я не знаю; знаю только то, что так было.

Дотемна эшелон опустел. Пленных же, как выяснилось позднее, распределили на работу по разным объектам. Им создали наилучшие для пленных условия и спустя какое-то время многие из них даже заслужили вольное хождение по городу в праздники и в воскресные дни.

И месяца не прошло после этого, как во дворе у нас появился довольно странно одетый человек и на ломаном русском языке спросил, нет ли у нас работы. Как выяснилось, он обратился к нам потому, что увидел недостроенный дом.

Все, говорит, я умею делать: плотничать, столярничать, сеять и пахать, ухаживать за виноградником. На голове у него был выцветший, потертый берет. Одет он был в сплошь залатанный пиджак, а шея была повязана чем-то наподобие кашне.

Оказался он пленным. Одним из тех, кого привезли сюда эшелонам месяц назад.

Не думайте, что я немец, предупредил он нас заранее. Я венгр, не по своей воле пошел на войну, меня забрали. Я говорит, пахарь и жнец, трудовой человек, воевать мне незачем. Вынул из нагрудного кармана обернутую в бумагу фотографию, бережно развернул и показал ее нам. Вот это, говорит, мой дом, а это моя жена и мои дети.

Улыбающаяся женщина в платье с большим вырезом и без рукавов держала на руках мальчика. Рядом стояла девочка, держась за подол материнского платья.

— У меня их только двое, — сказал венгр. — Это моя жена, это мой дом, — повторил он снова.

На фотографии отчетливо был виден низкий одноэтажный каменный дом, то ли с верандой, то ли с балконом. Балконный столб обвивала лоза, ползла вдоль балки и уходила под желоб.

Работы у нас сколько угодно, сказала ему мама. Вы и сами видите, дом недостроен, двор не ухожен, виноградник не обработан, но, говорит, у нас нет денег.

— Знаю, — вздохнул венгр. — Вы думаете, я не знаю, что вам трудно живется. Ничего не поделаешь, война. Не только вам, всем сейчас трудно. Один бог знает, как там сейчас мои. Второй год нет от них вестей. — Он загрустил, притих, собрался уходить. Мама вынесла кусок мчади с сыром и робко протянула ему. Боялась, чтоб он не обиделся. Пленный же с радостью принял подношение и завернул в газету — потом, говорит, поем. Поблагодарил нас и ушел. В следующее воскресенье он снова явился.

Каждое воскресенье приходил он, как по приглашению. Рассматривал недостроенный дом, предлагал нам новые проекты и чертежи; находил ошибки в

работе плотника и столяра. Потом снова вынимал из кармана фотографию.

Вот, говорит, моя жена, а это, говорит, мои дети, один постарше, другой помладше. А вот, говорил он, мой дом. И мы снова, в который раз, рассматривали фотографию. С абсолютной точностью воспроизводя угро-финское произношение, повторяли имена детей и жены нашего пленного; более всего привлекала меня лоза, обвивающая столб и ползущая дальше вдоль по карнизу. Вид красивого низенького светлого дома вызывал во мне ощущение тепла и прохлады одновременно. Таких домов в наших краях не было, возможно этим и объяснялось то необыкновенное очарование, которое мне виделось в нем. Ясно и живо представлял я себе прохладу, тепло и уют.

Пленный же день ото дня становился все более близким нам человеком. Уже безо всяких извинений являлся он в наш двор. Объяснял нам, как нужно правильно ухаживать за садом и вести строительство. Никакой пользы от него, кроме этих разговоров, не было, и тем не менее он никогда не уходил от нас с пустыми руками. То мчади с сыром, то фрукты, то еще что-нибудь подносили мы ему. Он говорил, что стесняется брать, что ему неловко, но никогда ни от чего не отказывался. Еще он говорил, чтоб мы не думали, что он приходит просить. А мы и не думали так, просто бывали ему рады. Стоило мне увидеть его, остановившегося у низенькой лестницы под балконом, как я тут же переставал играть. Между прочим, он ни разу не вошел к нам в дом. Может быть, он и не имел на это права. Останавливался у лестницы в своем потертом берете, с кашне вокруг шеи и с фотографией в руках. С увлечением рассуждал о строительстве домов, о посевах и уборке урожая, об уходе за лозой, о предстоящей погоде и о всяком другом.

Однажды совершенно для нас неожиданно он задал вопрос: «Не боитесь вы строить такой большой дом?»

Нам было непонятно, чего мы должны бояться.

Пленный собрал в своей памяти весь имеющийся у него запас слов, стал перетасовывать их, переставил с места на место и терпеливо объяснил нам: «Когда кончится война и наступит мир, вы, наверное, закон-

чите строительство, но что же вы будете делать, если у вас отберут этот дом?»

Слова эти ядом просочились нам в душу.

— Кто же отберет его у нас? — спросила растерянная мама, прекрасно понимая, на что намекал пленный.

— У вас ведь все отнимают друг у друга, — запутался пленный. — Я слышал, что так бывает, потому и говорю, если только вы поняли.

Разговор на эту тему уже не возобновлялся, зато воскресные визиты пленного венгра продолжались с пунктуальной точностью, и в один прекрасный день мама, у которой кончились все припасы, растерявшись, даже не знаю, как это с ней случилось, вынесла ему каменную соль.

Сверкающие обломки каменной соли под лучами солнца отливали купоросом. Пленный смутился, но не подал виду. Взял соль, завернул в бумагу, поблагодарил, попрощался с нами и с того дня уже больше не появлялся.

Я и сейчас отчетливо вижу наполненный прохладой летом, а зимой — теплом каменный домик, обвившуюся вокруг столба и ползущую вдоль карниза лозу; вижу более отчетливо, чем того человека, который приходил к нам по праздникам и воскресеньям.

Я ПОЛУЧИЛ ПЯТЕРКУ

НА БОЛЬШОЙ перемене до начала урока грузинского языка Харбедиа сказал:

— Я выйду на балкон, спрячусь за дверью и посижу там до конца урока.

У старого каменного дома, или бывшего дворца, было несколько балконов со стороны фасада. Один из этих балконов, узкий, неудобный, скорее декоративный, прилегал к нашей большой классной комнате, именно там собирался пристроиться Харбедиа и даже показал нам, как он это сделает, каким образом проведет целый академический час на свежем воздухе. Правда, все это было сопряжено с неудобствами, так как там нель-

зя было сесть, вытянув ноги, а прятаться стоя тоже не получалось, потому что двери, по идее стеклянные, вдобавок не были застеклены. Одним словом, я сказал, что балкон этот создан для подобных предприятий. К тому же там отовсюду продувало, но при необходимости один урок можно было вытерпеть.

Харбедиа учился не лучше и не хуже остальных. В тот день он был готов к уроку и даже выполнил домашнее задание, и никто не знал, что заставило его в конце декабря сидеть целый урок без шапки на балконе.

Классная наставница принесла с собой тетради цвета промокашки, окинула взглядом класс, спросила, все ли на месте, не дождавшись ответа, раздала тетради, дала нам задание: сделать разбор контрольной работы, которую мы писали в прошлый понедельник. Список учеников она не стала читать, и отсутствие Харбедиа осталось незамеченным.

Я раскрыл свою тетрадь, взглянул на последний абзац, в глаза мне бросилась красная пятерка. Поразившись, я оглянулся на класс и подумал: или все получили такую отметку, или же это какое-то недоразумение.

— Я поставила одну-единственную пятерку, — сказала учительница и поглядела на меня. Эту фразу она повторила несколько раз, а всех остальных назвала ни к черту не годными (тут она немного переборщила).

Был у нас в классе первый ученик по фамилии Барбакадзе. Он всегда сидел на первой парте в первой колонне. В учебе не было ему равных, а в драке, в разных состязаниях, в играх «лаhti» и «здравствуй, осел» он тоже всегда выходил победителем. Он был чуть постарше нас возрастом, чуть повыше ростом, чуть потяжелее весом и чуть богаче умом. Был он примером для всех нас и потому, наверное, всегда сидел впереди. Первая парта первой колонны находилась в стороне от учительского стола и потому Барбакадзе, занимая обычно один всю парту, сидел вполборота. Когда наставница меня хвалила, он тоже сидел изогнувшись, оглядываясь назад. Смотрел в спину учительнице и мне в лицо недоверчивым взглядом. Он, видимо, что-то хотел сказать, но не решался. И вдруг,

к моему изумлению и к радости остальных, без спросу встал со своего места и, воскликнув: «Интересно, что такого он там написал?», направился ко мне. Незабывая на энергичный протест учительницы, он взял у меня из рук тетрадь, взглянул на мою работу, или, как это раньше называли, сочинение. И это, говорит, все? Что ожидал он увидеть больше того, что там было, он не сказал.

— Что тебе надо, Барбакадзе? — спросила, потеряв терпение, учительница.

— И за это вы ему поставили пять? — многозначительно взглянул на нее ученик.

— Барбакадзе, сядь на место! — закричала учительница.

Барбакадзе подчинился учительнице, вернулся на свое место, сел, потом снова вскочил, развернул свою тетрадь, поднял ее над головой и заявил: «Вот моя работа, а вот его. Мне полагается четверка, а ему пятерка? Этот вопрос я выясню там, где следует».

В классе началась суматоха, одни рассматривали четкие строчки Барбакадзе, другие читали мои каракули. Мне лучше было провалиться сквозь землю, чем увидеть эту пятерку в своей тетради.

Одноклассники рассматривали наши работы, возможно они невольно даже сравнивали их друг с другом, но, пользуясь неразберихой, чувствовали себя лишь участниками заранее подготовленного спектакля. Когда же дело приняло серьезный оборот, когда класс понял, что Барбакадзе не шутит, все вдруг притихли и удивленно уставились друг на друга.

— Успокойся, Барбакадзе, угомонись! — уже в который раз повторяла учительница, но ей так и не удалось его усмирить.

— Зачем вы мне поставили четверку, а ему пятерку!? — твердил Барбакадзе.

— У него хорошо передано содержание, — почему-то оправдывалась раскрасневшаяся учительница.

— В таком случае мне следовало поставить шестерку, — выставлял все новые и новые положения Барбакадзе. Наверное, он был прав. Иначе учительница, которая уже неуверенным голосом повторяла ему, что

у меня лучше передано содержание, вряд ли позво- лила бы ему вести себя подобным образом.

В конце концов он дошел до того, что учительнице пожаловаться, если она не переправит ему отметку.

По такой-то и такой причине не заслуживает, мол, он пятерки, твердил свое Барбакадзе. Я чувствовал, что он говорит правду, но мне было досадно оттого, что сам я никогда не сказал бы этой правды.

Я просто не находил себе места и завидовал судьбе Харбедиа, чья всклокоченная голова маячила за стеклом на фоне бывшего губернаторского дома.

Так в слезах и пререканиях прошел весь урок и взвинченная учительница буквально выбежала из класса, едва прозвенел звонок.

Она вышла, и влетел ооченевший Харбедиа. Посиневший, стуча зубами от холода, но с довольным видом. В чем, говорит, дело, что за крики раздавались отсюда, поинтересовался он. Ему рассказали о случившемся. Он долго молчал, молчал до самого конца урока, а когда зазвенел звонок, перегнулся ко мне и сказал:

— Барбакадзе забыл, наверное, что я там прятался, а то непременно выдал бы меня.

— Не может быть, чтобы он мог так поступить, — не поверил я.

Среднюю школу Барбакадзе окончил с отличием.

В нашей школе ни он, ни я не проучились до конца, но связь с товарищами мы не прерывали и виделись часто.

Он поступил в политехнический институт на заочное отделение, параллельно работая на заводе. Учился и одновременно трудился. У него была слава передовика-фрезеровщика. Его выбрали присяжным заседателем в местный суд. Кроме того, мне попадались его фотографии в центральных газетах. Почему-то он не сумел окончить институт, зато на трудовом и общественном поприще прославился и, не помню когда, но даже был избран депутатом Верховного Совета.

Недавно я встретился с ним и он сетовал на то, что мы, мол, потеряли друг друга, до сих пор, говорит, не отметили окончание школы. Никто не взялся за это дело, так хоть ты воодушеви остальных, деся-

тилете, говорит, не справили, двадцатилетие тоже да-
вай хоть тридцатилетие отметим. Он говорил это за-
быв, что окончили мы разные школы, а ту школу где
мы вместе учились, ни он не окончил, ни я, а не то
как-нибудь с грехом пополам можно было отметить
хотя бы сорокалетие.

КОРАБЛЬ-ТАХТА

В ТУ летнюю ночь была гроза, полыхала молния,
гремел гром, вихрь взвивался за окнами, по че-
репичной крыше барабанил дождь; поток дождевой
воды бушевал в канаве, неся с собой камни и булыж-
ники. На рассвете ливень сменился частым дождем,
ветер стих и к полудню распогодилось: небо стало
синим, прозрачными белыми клочьями плыли к северу
облака. От влажной земли поднимался пар и через ка-
кое-то время даже припекло.

Из сада Патаридзе слышались голоса мальчи-
шек; я помчался через двор к калитке, выбежал на
улицу и, шлепая босыми ногами по лужам, свернул в
переулок, миновал бывший детский садик, ныне склад,
и перелез в заброшенный патаридзевский сад.

Мальчишки сбились в одну кучу. Их было не так
много, как это могло показаться из-за шума, который
они производили, и тем не менее меня поразило их
множество. Спал я, что ли? Как это случилось, что все
оказались тут раньше меня? — подумал я про себя и
остановился у сломанной ограды.

Дождевая вода запрудила поляну, представляю-
щую собой впадину; и таким образом здесь за время
моего отсутствия образовалось целое водохранилище.
Из окна противоположного дома (никогда раньше не
видел я открытым это окно) выглядывали три женщи-
ны; они наблюдали за действиями мальчишек, смея-
лись, подбадривали их восклицаниями и даже время
от времени давали советы; правда, никто не обращал
на них никакого внимания. Они, оказывается, варили
на общей кухне ткемали и поневоле сделались как бы
участницами всей этой кутерьмы.

Резо Чейшвили. Ветер доносит музыку.

Что же происходило?

Перепаханные в грязи мальчишки мастерили лодку, готовились в плавание. Бог дал им воду, но хватало только лодки. Откуда-то притащили они старую престарую тахту. Она плашмя валялась на земле и к ножкам ее прибивал доски Бадри Иаманидзе. Бадри редко появлялся в патаридзевском саду, несмотря на то, что жил в доме напротив, в том самом доме, где три женщины варили ткемали. Во что только мы здесь не играли, выдумывали все что угодно (кроме превращения тахты в лодку), но ни разу еще не заинтересовался Бадри нашими забавами и развлечениями. Правда, был он много старше нас, но своими играми увлекали мы людей и постарше него. А сейчас он так усердно, с таким пылом принялся за эту не то игру, не то работу, что я было подумал, уж не гребец ли он или даже кораблестроитель. Но, как выяснилось, к воде он не имел никакого отношения, а вот что касается спорта, то он, оказывается, играл в футбол в какой-то команде. Кажется, выступал за «Пищевик» Цхалтубо. Вместе с этим он где-то работал и помогал вдовой матери и сестре. Ни разу не видел я, чтобы он играл в футбол в саду Патаридзе, кроме одного раза, когда он, вернувшись то ли с работы, то ли с тренировки, сказал, что очень устал и ударит только по воротам, при этом он предупредил нас, чтобы мяч ему подавали как можно более неточно. Предупреждение было излишним — мы и без того били по мячу довольно бестолково. «Бейте в сторону, в сторону!» — кричал он и удивительно ловко бил по мячу то правой, то левой ногой, сбрасывая на землю цветущие ветки ткемали. Бадри бил, колотил по нашему единственному, любимому, с трудом приобретенному мячу, колотил до тех пор, пока не распорол его и не изорвал себе сбувь.

«Единственные туфли испортил», — сказал он с улыбкой, ничуть не горюя о мяче. Потом, весь взмокший, присел, посмотрел на вылезавший из распоротого башмака большой палец и добазил: «Все равно, скоро в армию, сдам их в починку, доношу до осени, а там и не понадобятся вовсе».

Был конец сорок четвертого года, и мне казалось, что Бадри уже на войне. Увидев его во дворе среди

мальчишек, я обрадовался; решил, что теперь его уже не заберут на фронт. Ничего он мне не сделал, ни хорошего, ни плохого, и все-таки я обрадовался.

Сейчас этот то ли призывник, то ли избежавший призыва безусый парень с увлечением трудился, готовился к игре. Надо заделать щели, командовал он, вбивая последний гвоздь в ножку тахты.

Щели между досками ребята заделывали глиной и травой. Бадри контролировал их работу, то хвалил, то выражал недовольство.

Кончив заколачивать гвозди, он притащил откуда-то сломанный стул, поставил его на тахту и назвал пулеметом, а тахту крейсером. Объявил, что необходимо переплыть на противоположный берег и обстрелять форпосты.

Что такое форпост, не знал никто, включая меня, выглядывающих в окно женщин и самого Бадри Иаманидзе, но незнакомое слово вызывало всеобщий восторг.

Дети шумели, суетились, торопились в плавание. Нечего тянуть, кричали они, спустим этот «форпост» на воду и поплывем. Одни думали, что «форпост» — корабль, другим казалось, что это весло.

Бадри не спешил, терпеливо объяснял, что «форпост» не надо спускать на воду, что его надо взять и разгромить. Говорил, что следует это сделать своевременно. Никто ему не возражал. Надо, мол, все рассчитать как следует, а то получится как в прошлый раз, когда было все сделано тяп-ляп и щели не заделали как полагается.

И только тут я обратил внимание на измазанную в глине тахту, на ребят с присохшими к щиколоткам комьями грязи и понял, что этот корабль-тахта, или же тахта-корабль, однажды уже отправлялся в плавание и довольно безуспешно штурмовал «форпосты». Потерпев неудачу, они заново с большим усердием принялись за шпаклевку дырявых досок.

Мне очень хотелось принять участие во взятии форпостов, но на корабле уже не было места, а кроме того Бадри уже распределил должности боцмана, лоц-

мана, мичмана и так далее в соответствии с заслугами каждого из них.

— Спускайте справа, там больше воды! — кричала из окна одна из трех женщин, варивших ткемали на общей кухне, кричала, не думая о том, что ее никто не слышит.

— Хунтуриа, чтоб ты оглох! — не унималась она.

— Чего тебе?

— У твоей мамы есть поднос?

— Что, говорит она, есть у моей мамы? — спрашивает товарища перепачканный в извести Хунтуриа.

— Нос.

— Какой нос?

— Поднос, поднос! — вопит из окна женщина.

— Вперед к форпостам! — командует Бадри.

Тахта-корабль-крейсер уже на воде. Боцман, лоцман, мичман и другие с криком «форпосты» и с ликующим ревом суматошно погрузились на «крейсер», направляясь к противоположному берегу: стали грести кто веслом, кто клюшкой, словом, у кого что оказалось под рукой, и проплыли, чтобы не соврать, метра три. Будь они поорганизованней, к этим трем метрам добавилось бы еще два и таким образом им удалось бы переплыть на другой берег, но кто за что хватался и что делал, разобрать было невозможно, и «корабль» накренился, в заделанные глиной щели хлынула вода, тахта опрокинулась и весь экипаж — боцман, лоцман, мичман и помощники капитана бултыхаясь попадали в воду. Один только Бадри сумел встать на ноги. По пояс в воде, он перешел вброд, вышел на сушу, умылся под краном, вымыл ноги. С улыбкой на лице остановился тут же у электрического столба. Матросы разбежались в разные стороны, кто куда. Я смотрел на Бадри, ждал, что же скажет капитан, к какому придет решению. А капитан стоял расстроенный, шарил рукой в кармане и, как я потом догадался, искал папиросу, с грустной улыбкой оглядывая поле сражения.

Тахту-корабль выволокли на берег и решили снова приступить к работе, несмотря на то, что уже не было прежнего восторга и пыла, да и вода стала заметно убывать. Несколько мальчишек нехотя, лениво начали заделывать щели тахты, большинство же из них спаслись бегством.

А вода все убывала, постепенно уменьшалась, испарялась прямо на глазах. Солнце нещадно палило и жгло. Женщины, варившие ткемали, уже не маячили в окне. Возвышающееся напротив кирпичное здание сильно накалилось от солнца.

Вода окончательно высохла, обнажилось дно, поросшее травой, которая понемногу распрямилась, просыхала. Мореплаватели — боцман, лоцман, мичман и другие, прячась от солнца, крадучись, по одному расходились.

Опрокинутая тахта одиноко валялась в песке и тине. Бадри Иаманидзе стоял у столба в закатанных брюках, улыбающийся и все-таки расстроенный, курил измятую папиросу.

Солнце клонилось к югу, а тень от столба тянулась к северу, и Бадри поневоле следовал за этой тенью.

На второй или на третий день его совершенно неожиданно вызвали и забрали. Тяжело было вдовой матери расстаться с единственным сыном. Ее утешали, сказали, что оставят его где-нибудь поблизости, а за это время и война кончится. Так ее обнадежили, а самого Бадри отправили прямо на фронт. Отправили туда, откуда он уже не вернулся.

Так и ходила в черном мать Бадри Иаманидзе, говорила, что до возвращения Бадри не снимет эту одежду. Так она и умерла, в тревоге о сыне, в надежде на его возвращение. Хоронили ее в ветреный день.

Что же случилось с Бадри Иаманидзе, достиг он своего форпоста, победил или остался там навечно, — об этом никто уже не узнал.

Окончание следует

ГАМЛЕТ В ДЖИНСАХ

Гамлет когда-то оставил
 замок свой Эльсинор.
 Шпага его — в ломбарде.
 Мантия — где-то в химчистке.
 Гамлет сменил иноходца
 на мотоциклетный мотор
 и в каске, заляпанный грязью,
 вихляя,
 по городу мчится.
 Гамлет в потертых джинсах,
 фирменных — Леви Страус.
 Его королевская кровь
 давно прокисла, наверно,
 а на его душе
 играют, развлечься стараясь,
 как на электрогитаре,
 розенкранцы и гильденстерны.
 Офелия в мини-юбке
 и в парике из Гонконга
 лицензионное «Мальборо»
 курит
 и тянет коктейли.
 В общем, как видите сами,
 современной девчонка,
 и Гамлет не знает, что предан,
 но яд растекается в теле.
 Отца у него убили.
 Остался лишь слабенький признак
 отеческой теплой тени,
 и ветер забвенья дует.
 Что Гамлету скажет сегодня
 отцовский блуждающий призрак?
 Ведь в детстве отец поведал,
 что призраков не существует.
 С кем Гамлету нынче сразиться?
 Борьба ему надоела.
 Род клавдиев злой продолжает
 свое ядовитое дело.

И Гамлет растерянно мечется
на мотоцикле по городу.
Завел он прическу под битлов,
отращивает он бороду.
Он в городе сбился с дороги.
В лесу он сбился с тропинки.
И Гамлет уходит в сторону —
ничто его не будоражит,
и продает в киосках гвоздики и грампластинки.
Гамлет в потертых джинсах, небесный цвет
потерявших...

Перевод Евгения ЕВТУШЕНКО

ПОДНИМИ НАСТУПЛЕНИЯ СЯГ!

Если . поднят
спокойствия флаг
над зубчатую
гордой стеною,
Это значит —
ты сдался без бою
и живым —
ты уходишь во мрак.
Ты остыл,
отстрелялся, иссяк;
за весною
кончается лето,
Но — вращается
наша планета...
Так спусти же
спокойствия флаг!
Отступило
минувшее в тень,
и другая пора
наступила...
Ты — источник
горенья и пыла,
ты — эпохи
сегодняшний день!
Не селись
в тишине и глуши —
между прошлым своим
и грядущим;

Будь отчаянным
и всемогущим,
всеми
бурями жизни дыши!

Для тебя —
и закат, и рассвет,
и стремленье
к неведомым звездам;

Этот мир
для дерзания создан,
в нем, поверь,
невозможного нет!

Так светись
и в горниле атак
отдавайся
борьбе бесконечной,

И над крепостью,
славной и вечной,
подними
наступления стяг!

ДВА НАСТРОЕНИЯ

1.

Небо хмурится, в городе дождь.
Я, скрывая
немую печаль,
провожаю твой белый корабль,
отплывающий
в дальнюю даль.

Я с причала машу тебе вслед,
и дыханье просторов —
у щек.

Это море — как виолончель,
этот ветер —
он будто смычок.

Он звучать заставляет волну,
сделав каждую
нежной струной.

Он волненье рождает во мне
и надежду
на встречу с тобой...



Вечереет. В лазури небес
 виден ястреб,
 и вот уже он —
 в необъятных глубинах исчез,
 как далекий,
 несбыточный сон.
 И меня это небо влечет,
 синевою бездонной
 маня.
 Солнце Грузии с этих высот
 силой жизни
 вливалось в меня.
 Но вовеки родимый простор
 не отпустит
 в небесную даль.
 И опять очертания гор
 покрывает
 ночная вуаль...

ЛЮБОВЬ

С тобой мы как-то
 встретились в пути;
 вилась дорога
 безднами и скалами...
 Себя
 нам предстояло обрести,
 мы были
 и чужими,
 и усталыми...

Мы сто хребтов
 прошли, как сто лугов, —
 мы друг для друга
 двигались во времени...
 Зовется
 в мире светом —
 лишь любовь.
 Иное все —
 средни
 крошечной темени...

ВОТ И ПОНЯЛ ТЫ...



Может, полностью
век свой
родимой планете
отдашь ты...
Ровно треть его
мерно
промчалась в пустой суетне...
Вот и понял ты —
лучше
взлететь тебе к Солнцу
однажды...
Даже пусть ты Икаром
сгоришь
в беспредельном огне!

ЗЕМЛЯ ЖИВЕТ ЗЕЛЕНОЮ ТРАВОЙ...

Земля живет
зеленою травой,
что светит мне в дороге
светофором...
И длится,
длится поиск,
о котором
известно в мире
лишь тебе одной.
Высокий парус бьется.
И в груди
незримо зреют
песенные строфы...
Туманный облик
славы
и Голгофы
маячит предо мною —
впереди.
В стихах
тебе
не все сказать я смог.
Они сегодня —
капельки вселенной...
Когда-нибудь,

Осень-царица в долинах поставила трон,
В рощах под ветром деревья лишаются
Снегом глубоким



тропинки засыпаны горные...
Что — между нами? Забытая сказка веков,
Желтые — листья деревьев и листы дневников;
Над ожиданьем

осеннее небо расстелено.
Что — между мной и тобой? Отчуждены стены.
Нами когда-то легко возводилась она,
И об нее же

сегодня мы бьемся растерянно...

КУКЛА

В жизни где-нибудь, возможно,
доводилось вам встречать
Человека-куклу. Куклу —
в человеческой одежде.
И на всей на ней лежала
сверхлюбезности печать.
Это значит — вы страшнее
ничего не знали прежде...
У нее набиты ватой
руки, тело, голова
(И — опилками порою,
и синтетикой, и сеном),
Но она всегда бездушна
и поэтому — мертва.
Так чего же вы добьетесь
от общенья с манекеном?
Что ни сделаешь, ни скажешь —
он твердит одно в ответ.
И не думайте, что кукла
своему изменит мненью.
Но, по правде, с сожаленьем
я смотрю такому вслед:
Испокон — в лучистом мире
он живет невзрачной тенью.
Он прекрасного не видит;
без эмоций, без гримас —
Лик его; над головою —
вместо неба серый купол...



Не встречали вы такого?
Значит, встретите. Не раз.
Предостаточно на свете
этих кукол, этих кукол!..
Обходите их. Подальше.
Я, наверно, слишком смел,
Чтоб учить вас. Извините.
Не могу остаться с краю.
Дело в том, что этих кукол
я избегнуть не сумел,
И, хотя года промчались,
до сих пор еще страдаю.
Мой простор извечный — долго
был подобен пустырю;
О ночах моих бессонных,
о растроченной надежде,
О развеянных порывах
я уже не говорю...
Избегайте кукол. Кукол —
в человеческой одежде!

Перевод Натана БААЗОВА

ТЕРЯЮ ДРУЗЕЙ

Я теряю друзей,
их судьба
разбросала, как зерна, по свету
сердце стонет от вечных
разлук и потерь,
и мне кажется, если
когда-то не кончится это,
то на стук мой никто
не откроет мне дверь.

На ночном небосводе —
печальном и светлом,
так привычно взойдет
золотая луна,
только я навсегда
растворюсь в проносящемся ветре
и оставляю друзей,
с кем пил радость и горе до дна.

Я теряю друзей,
их судьба
разбросала, как зерна, по свету...



Перевод Николая ЛЯТОШИНСКОГО

* * *

Немало воды утекло с той поры,
И лето не раз повторялось,
И рана в душе
Затянулась давно.
Но вот, с переменной погоды,
Когда вдруг потянет
С далеких полей
Запахом только что скошенных трав,
Рана забытая
Вновь заболит,
Глухо заноеет —
Почти незаметно...

Перевод Регины АНТОНЕНКО

БАЛЛАДА О СОЛДАТАХ

«Солдаты, плачут по ночам»
Сальваторе Квазимодо.

Когда на время затихает бой
И замирает глухая кононада орудий,
Когда взрывы снарядов уже не раздаются
близ траншей

И густая тьма черным покровом
Скрывает и мертвого и живого,
Правого и неправого,
И враждующих сторон исчезают
Развеваящиеся на ветру флаги, —
Тогда невидимо для мира
Плачут солдаты,
Плачут, скрывая свои слезы,
Стоны и вздохи,
Сидя в вонючих траншеях,
Одни.
Им вновь мерещится

Забывший цвет неба,
Старые родительские дома,
Утопающие в зелени,
И развешенное
на каменных террасах

Детское белье.

А мы —

а мы сидим в комнате,
Где ярко горят свечи,
Смеемся и курим,
И танцуем в обнимку,
Попивая

из хрустальных бокалов

Шампанское и вино.

Мы смеемся,

Нам кажется странным

Думать о человеческих слезах,

О том, что и самые мужественные

Солдаты

плачут

по ночам.

Но ведь может случиться —

Кто знает! — и мы

Встанем на их место.

И после кровавых боев,

Сидя в пропахших смертью траншеях,

Будем молчаливо и скорбно

Плакать,

Как плачут солдаты...

О небе и о земле...

Перевод Бориса КОГАНА

●
Божьего оленя поразил стрелою —
На плече оленьем... белый крест сиял!
Долго я о камни бился головою:
Согрешил, безумный, — для чего стрелял!?

●
Пусть у смерти тоже подрастет дитя!
Смерть другую встретит на дороге пусть.
Да увидит встречу лиходейка-мать:
Поглядит — запомнит этот черный путь.
Может быть, наскучит смерти убивать!?
Может, доведется сердцу отдохнуть?

ЮНОША ОБЕЗУМЕВШИЙ

От страданий обезумевши,
Он кричал не по-хорошему —
Вскрикивал подобно коршуну!
Так болело сердце юноши.

Черная, грудь пронзила —
В сердце стрела попала.
Кровь — не иссякала
И по стреле скользила.
И по стреле стекала,
Ладала по подолу.
По ноговицам стекала —
Переливалась долу.
В поле змеей сверкала,
В глубь земли забиралась.
Во глубину стекала —
Медленно собиралась.

Из книги «Фиалки на горе», подготовленной Главной редакционной коллегией по делам художественного перевода и литературных взаимосвязей при СП Грузии.

Во глубину стекала,
В Сўлети¹ пламенела.
В Сўлети затихала.
Стыла. И каменела...

●

Она смотрела сверху вниз,
Искристоокая, она.
Рукою машет: «Поднимись!
Совсем измаялась одна.

Велела мужу своему
На крепость крепкую напасть.
А, чтоб на голову ему
Скалой обрушилась напасть!

Страдаю, маюсь по ночам...
Не скажешь — где моя тропа?»
...Примчался вестник. Прокричал:
«Эй, женщина! Твой муж пропал».

«Счастливым день! Какая весть!»
Дарила вестнику быка.
Баранов выгнала — не счесть!
Не успокоится никак.

Не успокоилась на том —
Дарила вестника мечом.

А мне промолвила потом:
«Мечтаю, знаешь ли, о чем?
Благодарение судьбе,
Когда отдаст меня — тебе!»

●

Волк матерый говорил:
«Свадьбу нынче сотворил.

¹ Царство душ.

Пил вино из винограда,
Битого порывом града.

Загляну-ка к чабану,
Попрошу овцу одну.

Интересно, что решит —
Разрешит, не разрешит?

Скажет «нет» — прорвемся к стаду.
Плакать станет — вторить стану...



Взойди,
Вовеки бы не всходить
Тебе, звезда предрассветная!

Светай,
Вовек бы тебе не светать,
Долгая ночь осенняя!

Залай,
Собака моя, залай,
Ступай от меня злосчастливого:

Висит
Над пропастью человек
На тонкой тесьме каламани¹.

В ночи
Холодной стенает он,
Стынет в рубахе ситцевой.

Стрела
Китидзе срежет тесьму,
Стрела побратима выручит.

Взойди,
Вовеки бы не всходить
Тебе, звезда предрассветная!

Светай,
Вовек бы тебе не светать,
Долгая ночь осенняя!

¹ Обувь из сыромятной кожи.

Висит
Над пропастью человек
На тонкой тесьме каламани.



Тесьма
Из телкиных черных кож,
Лопни, тесьма проклятая!

Теперь,
Собака, ступай домой —
Нет у тебя хозяина.

Родимой
Лучше не говори:
«Сын в Кикобáни, в пропасти».

Не то —
Заплачет она навзрыд —
Всех перебудит за полночь...

КУРША¹

Рачинская баллада

Куршу, собаку,
Отправил искать добычу. Шáво².
Курша вернется —
В доме запахнет дичью. Шаво.
Курша, собака моя,
Не пришла к обеду. Шаво.
Куршу искать
Отправился я по следу. Шаво.
Курши прыжок,
Единый прыжок — длиннее, шаво,
Целых земель!
Угонится кто за нею? Шаво.
Лапы Курши!
У Курши такие лапы, шаво, —
Лапой одной

¹ Курша — мифическая собака богини охоты.

² Шáво — черная; здесь — шáво и Курша, о шаво! — рефрен.

Гумно перекрыть могла бы. Шаво.

Очи Курши!

Сравнимы они с одною, шаво,

В ночь полнолуныя

Вылетевшей луною. Шаво.

Зубы Курши — с лопату:

Страшитесь, звери! Шаво.

Брови Курши,

Будто большие змеи. Шаво.

Курша лает —

Гром по горам летает. Шаво.

Морда Курши —

Золотая, литая. Шаво.

Куршу искал.

В скалы забрел по следу. Шаво.

Скалы отвесны,

Обратной дороги нету. Шаво.

Видно, богиню прогневал —

Удача бежала.

Курша, о шаво! Курша, о шаво! Курша, о шаво!

Снег лепил

Ступенями по отвесу. Шаво.

Снег оттаял —

Теперь со скалы не слезу. Шаво.

На вершине проклятой

Мертво и голо. Шаво.

Курша молвит:

«Убей, хозяин! Прогонишь голод». Шаво.

Мертвая Курша

Передо мной лежала.

Курша, о шаво! Курша, о шаво, Курша, о шаво!

Зря убивал:

Что проку в такой добыче? Шаво.

Псины отведают —

Значит, предать обычай. Шаво.

Наземь сойду, сойду,

Вот поглядите. Шаво.

Только жену-детей

Мне приведите, шаво,

Чтобы разлука с ними

Не удержала.

Курша, о шаво! Курша, о шаво! Курша, о шаво!



Наземь сойду, сойду,
Вот поглядите. Шаво.
Только ружье лезгинское
Наведите. Шаво.
Да под скалою мне
Постелите саван.
Курша, о шаво! Курша, о шаво! Курша, о шаво!

ТУЧКА

— Тучка, пробегай бегом,
Нашу ниву не темни.

— Как же мне бежать бегом
По стерне да босиком?
У меня горят ступни...

Две сванские баллады

ЛЕДНИК

Горе! Какое горе!
На Троицу, в светлый день —
Вдруг сокрушил преграды,
Загрохотал ледник.

— Долго меня теснили
В скалах, — сказал ледник, —
Будет! Сорвал оковы,
К морю иду теперь.

Шествую по Мизриери,
Срезаю подола Саджара,
Ворочаю между пальцами
Тяжкие глыбы льда.

...На луговине Саджара
Пас пастушонок стадо.
Меня приметил — вздрогнул,
Бросился наутек.

— Куда торопишься, мальчик?
Не убежать, красивый, —

Возьму и тебя, и стадо
В подарок морю!



Шествую возле Бавари,
Плыву со звоном и грохотом.
Мельница на дороге —
Бека пшеницу молот.

Тронул плечом легонько —
Понес и Беку и мельницу
В подарок морю!

Шествую под Ладгимом,
Звон колокольный слышу.
Вот оно что! — нечаянно
К паперти подошел...
Церковь Святой Ламарии
Обошел стороною:
Святую Ламарию чту.

Шествую по Жибиани —
Стонут и причитают.
Шествую по Чибяни —
Выносят полный поднос...

Шествую по Нагвашери.
Вниз уношу Нагвашери.
Двери захлопнул Шихаил —
Гостю, что ли, не рад?
Крепость твоя, Шихаил, —
Лучшая в мире крепость.
Твоя красавица Нанула —
Лучшая Нанула края.
Все заберу с собою
В подарок морю!

Шествую по Накриери.
Вниз уношу Накриери.
На том берегу ежевика,
На этом — смородина.
Три девушки белолицых
В кустах заливались смехом.
— Зачем, красивые сестры,

Смеетесь над ледником?
Все заберу с собою
В подарок морю!



...Так, сокрушив оковы,
На Троицу, в светлый день
Грохочет ледник. И морю —
Владыке — несет дары.

К а с л е д и л

Кто-нибудь видал Каследил —
Славные владенья отца?
Белый замок по-над скалой
Светит от горы до горы!
Неоглядны наши луга.
Туры пашут нивы отца,
Серны высевают хлеба,
Лани жнут, молотит олень.

Поутру выходит отец,
В кулаке березовый прут.
Через гору Утур к Шхарé
Тянутся табун и стада.
Поит сгимом Утур-горы,
А потом горячих коней
У подножья белой Шхары
В травах рассыпает отец.

Дочь его единственная —
Восхвалять неловко себя —
Я светлей рассветной звезды
В каследилском небе блещу!
Что мне в Каследиле сидеть?
Что мне делать в замке своем?
Оседлаю-ка жеребца
С белою полоской на лбу.
Красный жеребец захрапит —
В платье из ветров облачусь,
Косы черные распушу,
По дорогам длинным промчусь.



Глянула в долину с холма —
Водят женщины хоровод.
Кликнули меня — подошла,
Разомкнулся песенный круг.
Ну и песни! Сладких таких
Не слыхала я отродясь:
«Дева — чистый вихрь снеговой,
Тысячи церковей перезвон, —
Для чего покинула дом,
Залетела в наши края?»

— Сестры, мне надобен жених,
Станом — тополь, ликом — луна,
Трех великих замков и трех
Неоглядных царств властелин.
Чтоб алмазный панцирь носил,
На коне солóвом сидел,
Чтоб ступил на гóру Ухвáн —
И под ним прогнулась гора.

— Нет у нас такого, сестра,
Помыслы напрасны твои.
— Нет так нет — не нужен никто,
Вовсе замуж не выхожу:
В Каследиле замок стоит —
Светит от горы до горы!

Перевод Яна ГОЛЬЦМАНА

ИГРА со смертью?.. Конечно, сказано слишком громко. Как это можно играть с нею, когда тебе от роду десять и, можно сказать, всего-то от горшка два вершка?

Слово «смерть» и все производные от него слова так или иначе доволно часто присутствовали в наших играх. И связывались они с известной в то время ресторанной песней «Есть в Батавии...» Ее мы слушали, терпеливо простаивая под окнами сухумского ресторана «Сан Ремо» при гостинице того же названия. Мы распевали ее на футбольном поле после очередного матча. Она была очень занятная. Дай бог памяти!.. Начиналась так:

Есть в Батавии маленький
дом
На окраине в поле пустом.
В этом доме в двенадцать
часов.
Китаец-слуга снимает
с дверей засов...

Но засов не так уж важен. Самое главное—
припев:

Георгий ГУЛИА

РАССКАЗЫ

Дорога в жизни одна,
Влечет всех к смерти она...



(«Одна» и «она» надо растягивать и кончать с надрывом).

В этом месте полдюжины ребят, как по команде, валились наземь. Замертво. И каждый старался изобразить смерть как можно натуральней. Женя, например, по-лошадиному храпел и сопел. Володя дрыгал ногами, точно его щекотали. Сеня утыкался носом в траву и замирал. Жора падал навзничь, разбрасывал руки в стороны и уморительно шмыгал носом. А Саша, дважды перекувырнувшись и подкинув ноги вверх, орал:

— Я умер.

А я и другие молодцы вовсю драли глотку:

Дорога в жизни одна-а-а-а-а-а,
Влечет всех к смерти она-а-а-а-а-а....

Очень хорошо получалось: веселая песня, веселая смерть!

Великолепно думалось о смерти и после какого-нибудь кинобоевика. Мы понимали, что такое смерть: это когда в тебя стреляют и ты падаешь: полежишь, полежишь, а потом — когда надоест лежание — вскакиваешь и носишься по полю как угорелый. Ведь это же ясно: после смерти всегда хочется побегать...

Ефрем Караманян — настоящий малолетний Тарзан — ходил на руках по полю и громко причитал:

— Ой, умираю! Ой, умираю!

И, вдоволь находившись, вызывал кого-нибудь на драку или французскую борьбу, демонстрируя свои бицепсы — почти железные...

А Володя умолял нас:

— Стреляйте в меня. Ну, стреляйте!

Мы целились в него из деревянного ружья — она очень меткое, — и он грохался наземь, скорчив гримасу, и крепко-крепко жмурил глаза.

— Он дышит, — говорил Сеня.

Он утверждал, что так нельзя, нельзя же дышать, как кузнечный мех. Это не по правилам.

— А разве так не бывает? — вопрошал Жора.

— Нет. Мертвый не дышит. — И показывал, как не дышит мертвый. Все покатывались со смеху, потому что Сеня вылупливал глаза и особым макаром сивител 3023010033 ноздрями....

— А это зачем? — говорил я и тыкал пальцем в глаза ему и в ноздри.

— Так надо.

А Володя между тем, кажется, не дышал. Мы считали: раз, два, три... двадцать, сорок, шестьдесят... Да что же это? Вот уже сто, а Володя не дышит.

Наконец он вскакивает и спрашивает:

— Ну как?

И тут падает Женя. В него даже не выстрелили. Сам по себе падает...

А мы считаем: раз, два, три... двадцать. Кто-то берет былинку и щекочет им женино ухо. Как он вскочит и — давай кричать:

— Это не по правилам! Нельзя щекотать!

Собирается совет: можно щекотать или нельзя? Все сходятся на том, что покойника можно щекотать, потому что он все равно ничего не слышит.

— Слушайте, — говорит Саша. — Я умру, а вы пощекочите!

— А можно под мышкой!

— Где хотите.

Он просит, чтобы ему под голову положили булыжник. А почему? Просто так.

— Просто так не бывает, — возражаем ему.

— Секрет, — объясняет он.

Володя — большой знаток черной и белой магии — объясняет:

— Кто видел в цирке фокусника? Все видели? А что он делал? Гипнотизировал. И женщина умирала.

— Чепуха на постном масле! — возражал Сеня. Его отец в свое время был совладельцем сухумского цирка. — Гипноз это не смерть. Гипноз — другое.

Мы немедленно забывали о смерти и целиком переключались на гипноз.

— Надо гипнотизировать глазами. — Сеня таращил глаза. — Почему? Потому что сила — в глазах.

— Сказанул! — Это поддел его Володя.

— А где же?

— В голове. В ней магнитные волны.

— А я говорю: сила в глазах!

Володя берется гипнотизировать. Самый младший из нас Жора Дзяпш-ипа. Его-то и выбирает Володя для опыта. Тот соглашается с превеликой охотой.

— Что мне делать? — интересуется Жора.

— Стой. Не шевелись. — И — к нам: — Ти-хо!

Володя становится против Жоры и делает руками удивительные движения. Перед самым его носом. Прямо как в цирке.

Это длится довольно долго, а Жора не засыпает.

— Ты должен поддаваться, — говорит Володя.

Кто-то громко чихает.

Володя тут же прекращает сеанс, потому что должна быть абсолютная тишина. Вместо этого он предлагает следующее: проткнуть щеку английской булавкой — и подставляет свою щеку.

— И что будет? — спрашиваем.

— Ничего не будет. Ни кровинки.

Булавок сколько угодно: у одного она держит штаны, другому служит вместо пуговицы, у третьего — на ширинке...

— Так, — говорит Володя и надувает щеку. — Давайте!

Я беру в руку самую большую булавку, слюнявлю ее, чтобы простерилизовать, а потом для пущей важности вытираю о сухую траву.

Володя пальцем указывает куда. Я колю изо всей силы. Булавка вонзается на вершок. А Володя — хоть бы хны: и бровью не повел, и ни кровинки у него на щеке. Удивительно!

Булавку достает Володя — собственноручно! — и возвращает ее владельцу. Он серьезен, делает вид, что ничего особенного не произошло. И тут же напоминает, что Саша обещал показать, как умирают по-настоящему.

Тот, недолго думая, бросается на землю, кладет себе под голову булыжник и, странно изловчившись, делает «мост». Мы с интересом глазеем на него: что же дальше?

А дальше вот что: Саша медленно опускает свой торс на траву и шепчет, нарочно заикаясь:



— Умираю.

Мы становимся в кружок.

— Чур, не смеяться! — приказываю я.

Солнце печет как сумасшедшее. Затылки греет так, что тошно становится. Как бы солнечного удара не случилось...

Вдруг на Сашу падает чья-то тень. Что это? Стоит возле нас старичок. С бородкой. И в пенсне. Улыбается, переминаясь с ноги на ногу. Костюм на нем жеваный, неопределенного цвета. Возможно, когда-то белого...

— Зоркин, — шепчет мне на ухо Володя.

— Зоркин... Зоркин... Зоркин... — передается по кругу.

(Есенину, бывшему накоротке в Сухуми, приписывают стишок, в котором поэт упоминает Зоркина: «Жизнь истаскал в опорки. А дешево тут вино! Кто-то по фамилии Зоркин пил брудершафт со мной»).

Да, это был Зоркин. Жил он на нашей улице. Где-то работал. Из интеллигентов. Любил выпить. Большой друг Паты Чантриа, на дилижансе которого мне с братом доводилось ездить в деревню Тамшь.

— Ребята, — мягко говорит дядя Зоркин. — Знают, в смерть играют? Нет, — продолжает он. — Вы играете со смертью. Я понимаю так: вы презираете ее!

— Дядя, — говорю я, расхрабрившись. — А мы знаем вас. Вы живете вон там.

— Правильно! — улыбается Зоркин. — А что, этот ваш друг на самом деле умер? — И показывает пальцем на Сашу.

— Конечно, — отвечаем мы хором.

— Плюйте! — говорит Зоркин.

— На Сашу?

— Нет, на смерть.

Мы громко смеемся. Зоркин спрашивает:

— Вы знаете эту песню?.. «А мы жить будем, и гулять будем, а смерть придет — помирать будем?»

Нет, мы не знаем ее. И откуда нам знать? Черт с нею, со смертью! Пусть себе идет куда угодно, а мы умирать не собираемся.

— Подымите его, — советует Зоркин.

И мы собрались поднимать Сашу. Но он сам подпрыгнул кверху.

— Ошалел, что ли? — ворчит с перепугу Женя.

Увидев дядю Зоркина, Саша отряхнул блузу.

— Ну? — спросил он нас. — Сколько я не дышал?

Но мы не считали, сбились со счета — Зоркин помешал.

Потом Зоркин помахал нам рукой и пошел своей дорогой, напевая: «А мы жить будем, и гулять будем...» Мы долго провожали его взглядами, а еще дольше молчали.

Вдруг Саша схватил сухой ком земли — с добрый арбуз, — подбросил его кверху и крикнул:

— Бомба летит!

Бомба упала наземь, и мы все повалились. Дюжина мальчишек дрыгали ногами, кувыркались, дико тарацили глаза и что-то орали. Так продолжалось несколько минут.

— Полундра! — выкрикнул кто-то.

— Куча мала! — поддакнули ему.

И мы слиплись — буквально слиплись! — в один ком: клокочущий, огнедышащий.

Изрядно намяв бока друг другу, усталые, потные, но очень довольные, мы поднялись, чтобы сосчитать, сколько же недостает пуговиц на нашей одежде и много ли ссадин и кровоподтеков.

Как бы там ни было и что бы ни пел Зоркин насчет смерти, мы знали одно — и притом твердо: мы будем вечно! Верно, кто-то умирает. Умер, например, отец у Сени, и Сеня, восседая на фаэтоне, разбрасывал цветы на улицах — до самого кладбища. И был очень горд... А больше смертей не помнили. Правда, разбойники убили одного сухумского мясника на Клухорском перевале. Но ведь то были разбойники, не сам же умер... Словом, смерть была очень смешной, особенно когда изображал ее Саша...

Володя раздобыл полдюжины дранок и мы понаделали много деревянных мечей. И устроили побоище. Прямо тут же. И умирали пачками. Умирали и снова вскакивали, и снова бросались в жаркий бой.

— Колите меня, — попросил Сеня.

Ну и укололи.

Он как заорет, как подскочит, да как грохнется наземь и — давай кувыркаться. И до того докувыркался, что угодил в буйволиную лепешку. Вот тут-то он чуть не умер от вони.

— Спасите меня! — орал он благим матом со слезами на глазах.

А как спасать?

— Лучше бы умереть, — вопил он, — чем в эту жижу попасть.

Мы отвели его к болоту, зажимая себе носы пальцами. С трудом обмыли его в вонючей воде.

— Буйволиное дерьмо лучше этой воды, — утверждает Сеня, да так смешно, что мы хохочем, держась за животы.

Сеня ищет глазами буйвола. А виновник переполоха жует себе жвачку и в ус не дует, только хвостом помахивает...

— Я убью его, — грозит Сеня.

Володя, недолго думая, бежит к буйволу, прыгает ему на спину и подводит к нам. Глаза у буйвола добрейшие, морда милейшая, а вот рога — страшные. Слон, а не буйвол!

Все, кто способен на подвиги, вскакивают на спину буйвола. Наездников полным-полно, а буйвол пожевывает себе жвачку и по-прежнему в ус не дует.

— Вот что! — Женя прикладывает ладонь себе ко лбу: его осеняет блестящая идея. — Я лягу, а буйвол пусть шагает через меня. Понимаете? Я в джунглях, а слон гонится за мной, как за Тарзаном.

Какая прелесть! Это же очень здорово. И никому не приходит в голову, что слон может раздавить Женю и что Женя от этого может умереть. Но этого быть не может! Мы бессмертны! Это только другие умирают — от неловкости, от неумения, от глупости...

Женя ложится, а всадники вкупе с пешими друзьями направляют буйвола на лежащего без движения мальчика. Кто палочкой тычет буйвола в бок, кто тянет его за хвост, кто, вцепившись в рог, криком направляет животное на Женю.

Но вот неожиданное явление, оно как гром среди ясного неба: это мой отец с большой кипой учени-

ческих тетрадей под мышкой стоит шагах в десяти от нас. Стоит непреклонный, как Моисей, только что спустившийся с горы Синай.

— Что тут происходит?

Мы соскакиваем с буйволиной спины на землю, отбрасываем в сторону деревянные мечи. Женя поднимается с земли. В чем дело? Все же в порядке. Самый что ни на есть морской порядок! Мы просто шутим... Так сказать, играем...

— Играете? — допытывается отец. — Что это за игра?

За всех отвечает Женя:

— Играем со смертью...

— С чем?

Повторить сказанное Женя не решается.

Отец достает из кармана часы «Павел Буре» и говорит:

— Четыре часа... Пора по домам. Обедать...

А кто же спорит? Обедать так обедать. Мигом становимся паиньками. Поголовно все. И молча расходимся, презирая всяческую смерть.

«ТОТ САМЫЙ ЧУДАК!»

ТЕПЛЫЙ денек выдался в Казани ранней весной 1855 года. Хотя земля все еще хранила немалые остатки зимних стуж — воздух был упоительно ласков и над городом полыхало почти летнее солнце.

Из главного подъезда университета неторопливо вышли трое и направились в сторону правого крыла здания, своими огромными колоннами напоминавшего древнегреческое строение. Это были уже немолодой, сорокалетний профессор математики Паевский, коренастый, не по годам полный адъюнкт Каюров и его сухощавый коллега в оловянных очках адъюнкт Адлер — тоже математики. Они прошагали до конца каменного тротуара и остановились, чтобы попрощаться и на прощанье перекинуться двумя-тремя подобающими в таких случаях словечками.

Однако профессор Паевский повернулся в сторону колонн и сказал:

— Господа, вы видели?

Адьюнкты тоже оборотились к колоннам. Они не совсем понимали, к чему относился профессорский вопрос: к колоннам, широким ступеням лестницы или еще к чему-то? Адлер поправил очки — может, из-за них он не увидел нечто важное?

— Посмотрите, господа, кто стоит вон там, у колонны? С дамой.

Да, действительно, у третьей от угла здания колонны стоял мужчина, а рядом с ним — женщина.

— Вы узнали? — продолжал Паевский.

— Нет, Григорий Алексеевич, — сказал Адлер. — А что?

— А вы, Петр Иванович?

Адьюнкт Каюров ничего особенного не усматривал в том, что у колонны в теплый денек стоит какой-то старичок с пожилой женщиной — просто греются на солнце.

— Они с кем-то разговаривают, — сказал Адлер, — его плохо видно из-за колонны.

Вскоре этот третий сошел по ступеням на тротуар и направился в сторону математиков, словно хотел присоединиться к ним.

— Да это же дядя Гильмутдин! — сказал Каюров. — Он-то уже наверно знает, с кем только что разговаривал.

— Как — с кем? — сказал профессор. — Если не ошибаюсь, у колонны стоит господин Лобачевский.

— Лобачевский? Тот самый чудак?.. Который вознамерился уличить Эвклида во лжи? — удивился Каюров. — Разве он жив?

— А разве он умер? — возразил Паевский. — Я что-то не слыхал об этом...

Каюров пожал плечами.

— Кажется... Да нет, пожалуй, он жив, — неуверенно сказал он.

— А мы сейчас спросим у дяди Гильмутдина... Дядя Гильмутдин! — окликнул сторожа профессор Паевский.

Рыжий, длинноусый татарин застыл на полушаге, затем любезно поклонился, приложив ладонь правой руки к сердцу.



УДК 82.09
ББК 84.090.000

— Дядя Гильмутдин, с кем вы только что разговаривали?

— Счас? — спросил татарин.

— Вон там, у колонн?..

— Тама?.. Это профессор была...

— Какой профессор?

Дядя Гильмутдин немножко смутился: разве этим господам не ясно, какой профессор? Разве это надо объяснять?..

— Который зала висит! — выпалил дядя Гильмутдин.

— В каком зале?

Сторож указал рукою на здание университета:

— Большой зала... там патрет висит...

— Что я говорил? — сказал профессор. — Конечно же, это господин Лобачевский...

— Он, он! — подтвердил дядя Гильмутдин. — Я знаю!

— А эта дама — кто?

— Дама?.. Его женщина... А он совсем слепой. Только солнце видит. — Сторож ткнул пальцем в небо. — Глаза как ночь, совсем черный стал...

— Стало быть, он видит только солнце?

— Толька, толька!..

— А что, дядя Гильмутдин, делает здесь господин Лобачевский?

Дядя Гильмутдин подошел поближе, словно опасаясь, что его услышат Лобачевские:

— Я все знаю... Все!.. Он, его жена совсем без денег... Пустой карман... Он говорил свой дочка: «Иди, дочка, ректор, он скажет сколько царь-бачка денег дал».

— Так он ждет денег? — сказал Адлер.

— Вероятно, пенсию, — предположил профессор.

Дядя Гильмутдин быстро-быстро закивал головой:

— Пенсий, пенсий!

— Так что же сообщил ему ректор, дядя Гильмутдин?

— Ректор?.. Ничиво! Дочка пошел, пока не пришел. — Дядя Гильмутдин достал из кармана копейку и показал ее математикам: — Деньга совсем нет! Копейка карман нет! Пустой совсем. Я все знаю...



— М-да, — промолвил адъютант Адлер.

— Может, вдобавок он и помешался? — спросил профессор. — Ведь об этом упорно говорят...

— Он? — сказал дядя Гильмутдин. — Конечно, если карман совсем чистый....

— Дело не в кармане, дядя Гильмутдин.

Татарин внимательно оглядел математиков. И сказал уверенно:

— Карман — большой дела! Карман пустой — хлеб нет. Хлеб нет — жена плачет, дети плачет... Очень плоха — пустой карман! И еще слепой глаз, совсем как ночь слепой... Он писал царь-бачка, деньга просил... Счас дочка скажет, сколько деньга прислал...

Лобачевские недвижно стояли у толщенной колонны, их лица были обращены в сторону главного входа, откуда должна была появиться с вестью их дочь Софья...

— Спасибо, дядя Гильмутдин! Извините, что задержали вас.

— Ничиво, — сказал татарин и удалился.

Профессор обратился к своим коллегам:

— Да, стало быть, тот самый чудак... А дядя Гильмутдин по своему простодушию сильно упрощает дело. Не столько повинны деньги, сколько это самое... — Профессор подбирал подходящее слово.

— Идея-фикс, — подсказал Каюров.

— Вот именно! Однако не всякая идея-фикс наносит вред тому, у кого она возникла. Господин Лобачевский решил всех переплюнуть. Вот в чем беда!

Адъютант Адлер высказался в том смысле, что само по себе стремление «всех переплюнуть» не столь уж зловредно. Разве Ньютон не сделал то же самое? А что сказать о Копернике? Разве Галилей был скромником в науке?..

— Не надо путать вещи, — наставительно сказал Паевский. — Перед нами, — он посмотрел на колоннаду, — как раз тот самый случай, когда помыслами движет гордыня, а не здравый смысл.

— Григорий Алексеевич, — сказал Адлер, — позвольте не согласиться с вами. Если говорить о госпо-

дине Лобачевском, то его сторонники, если таковые найдутся, конечно...

— Вот именно, если найдутся! — сказал Паевский.

— ...его сторонники могут напомнить о его заслугах... Скажем, о вкладе в научную деятельность университета во времена его ректорства. А ректорство продолжалось, ни много ни мало, чуть ли не двадцать лет... Скажем, о его геройстве во времена холеры. Я это знаю по рассказам. Говорят, он спас и студенчество, и профессуру от страшной эпидемии. Ценою риска, ценою мужества. Во всяком случае, так говорят. Да и ордена, господа, даются не просто. Орден святой Анны первой степени со звездой, орден святого Станислава... Мы прекрасно знаем профессора мирзу Казембека... Он посвятил свою работу господину Лобачевскому — и это неспроста. Я сказал только часть того, что могут выставить в защиту профессора Лобачевского его поклонники.

— Поклонники?—профессор Паевский улыбнулся.

— Ну, может, сказано слишком громко, — отступил Адлер.

— Именно, именно, Карл Осипович! Надеюсь, вы не входите в их число?

— Нет, не вхожу.

— Ну и слава богу!.. Господа, дело вовсе не в том, каковы заслуги Лобачевского в университетском деле или при холерной эпидемии. Речь о другом. Нельзя выворачивать наизнанку человеческий разум. А он попытался это сделать. Разумеется, безуспешно. И, как всякий фанатик, теперь расплывается за содеянное.

Непонятный жест адъюнкта Адлера чуть не вывел из себя профессора.

— Что вы можете возразить, Карл Осипович? — повысил голос профессор. — Если сам Гаусс не сказал ни единого слова в защиту Лобачевского? Если сам академик Остроградский не понял Лобачевского? Давайте будем объективными. Значит, так: Эвклид сформулировал свой пятый постулат: параллельные линии существуют в природе и они не пересекаются! Да-с! Неужели это требует доказательств? И каких, господа? Вы можете возразить: а что ж Птоломеем и Омар Хайям, что же Прокл и Насреддин Туси, что же Лейбниц, Лагранж и другие? Да, они усомнились в том, что

пятый постулат Эвклида — не постулат, не аксиома. Усомнились — и что же дальше? Я спрашиваю: что же дальше?

Адъюнкт Каюров пошутил:

— Дальше — сумасшествие.

Паевский подхватил его мысль:

— А больше и ничего! Янош Больяй был вполне нормальным? Не убеждайте меня в противном! Его мысли совпадают с утверждениями автора «О началах геометрии», то есть Лобачевского. Но что из этого следует? Что Лобачевский прав? А может, — наоборот? Ведь Больяй тоже не получил благословения великого Гаусса. А вы говорите!.. Возьмем Римана. Это же больной человек... Если кто и станет утверждать, что его фантазия где-то пересекается с фантазией Лобачевского, — это совсем не в пользу последнего.

Каюров сказал:

— Действительно, атаки против Эвклида кажутся весьма странными. Можно подумать, что был он дурак. Господа, взгляните на этот тротуар... Вот он тянется вдоль всего фасада, тянется на много саженей. Но ведь он же не суживается. А почему? Потому что пятый постулат — непререкаемая истина.

— Что верно, то верно, — решительно поддержал его Паевский.

Адъюнкт Адлер сказал предельно мягким тоном:

— Господа, плачевное состояние Николая Ивановича Лобачевского, дожидającego милости, невольно привело наш разговор к научному диспуту. Я отнюдь не принадлежу к тем, кто смеет отрицать пятый постулат...

— Посмели бы! — едко заметил Паевский.

— И сметь не стану! Зачем? Человечество тысячи лет жило в мире эвклидовой геометрии и проживет еще тысячи лет. Я в этом уверен. И нечего бездумно разрушать очевидную гармонию.

— Весьма справедливо, — похвалил Паевский.

— Благодарю вас, Григорий Алексеевич. Но попытка в чем-то усомниться разве есть ересь?

— В чем-то, Карл Осипович? — Каюров развел руками: — Речь идет об основе, а не о чем-то мало-значущем...

— Какой основе, Петр Иванович?

— Об основе основ!

— Разве погибнет мир, если пятый постулат превратится в теорему?

— Вы опять за свое!

— Нет, я просто спрашиваю.

В диалог адъюнктов вмешался Паевский:

— Просто о столь важных вещах не спрашивают, Карл Осипович. Если о белом говорят «черное» — как это прикажете понимать? Если геометрия, геодезия, картография, астрономия, наконец, принимают пятый постулат безоговорочно и основывают на нем свою работу, притом успешно, — о чем это говорит? Ведь человек при здравом рассудке не может белое принимать за черное и наоборот. Ведь не может? — Вопрос обращен к Адлеру.

— Не может, Григорий Алексеевич.

— Что и требовалось! А что же эти господа — Лобачевский, Риман, Больяй? Они же руку подняли на священное для нас, математиков. Они же запустили руки в святая святых не только геометрии, но и математики вообще, и в самую душу нашу! И как прикажете все это воспринимать? С благодарностью? Стало быть, спасибо тем, кто призывает нас мыслить шиворот-навыворот? Так, что ли?

— Нет, не так, — говорит Карл Осипович.

— Не так, — говорит Каюров.

После небольшой передышки, которая удержала профессора в рамках ученого диспута, Паевский сказал:

— Не подумайте, что я злорадствую по поводу несчастной судьбы Николая Ивановича Лобачевского. Правда, я не имею чести знать его близко — разница в годах слишком велика. Да ныне и эпоха не та. Ведь свое так называемое открытие он сделал еще в двадцать шестом году...

— Он и ныне его придерживается, — вставил Адлер.

Профессор посмотрел на него недоумевающим взглядом:

— И поныне? Гм... Он держится своего мнения и поныне? Взгляните на этого старика, господа. Невольно приходят в голову лермонтовские стихи: «Смотрите ж, дети, на него: как он угрюм, и худ, и бледен! Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его!» Однако добавлю от себя: мне его жаль.

— Вот идет к ним девушка, — сказал Каюров.

— Не дочь ли?

— Возможно.

— Давайте, господа, подойдем поближе, может, узнаем что-либо о дальнейшей судьбе Николая Ивановича...

Математики пошли по тротуару, держась поближе к колоннам. В тот самый момент, когда они почти поравнялись с четой Лобачевских, дочка подошла к родителем. И математики услышали резкое слово «отказ».

Жена приложила платок к глазам, а Лобачевский, как глядел на солнце, так и остался в этой позе. Слово не его касалось зловещее слово «отказ».

Математики пошли прочь...

Спустя много лет Дмитрий Менделеев, как бы вторгаясь в научный диспут казанских ученых, напишет такие строки: «Геометрические знания составляют основу всей точной науки, а самобытность геометрии Лобачевского — зарю самостоятельного развития науки в России»...

Казань — Москва.

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ МАРИ БРОССЕ

IX

ОТЛИВКА ШРИФТА

ПОСЛЕДНИЕ годы пребывания Мари Броссе в Париже, перед его отъездом в Россию, отмечены одним важным для истории культуры обстоятельством: это отливка грузинского шрифта. Казалось бы, случайно возникший под пером Теймураза вопрос этот на самом деле отражал давнюю закономерность и отвечал назревшей необходимости.

Все началось с желания грузинского царевича обзавестись удобной для пользования библией малого формата. И вот он уже в письме к Мари Броссе от 9 октября 1833 года без обиняков приступает к делу: «У меня есть к Вам одна просьба,—пишет Теймураз, — хочу иметь буквы алфавита хуцури. Если это возможно, помоги мне заказать их там, в Париже, за мой счет. В алфавитах, сбединенных в одну книгу, которые я пожертвовал Азиатскому обществу, имеются большие буквы хуцури асомтаврული. Я бы хотел, чтобы с этих букв снял образцы хороший мастер, но так, чтобы не испортить очертание и облик букв. Каждая буква должна быть скопирована точно в том виде, в каком она представлена в книге, но только я не хочу крупных букв. Да, хотелось бы мне иметь мелкие буквы. Такие маленькие буквы должен сделать мастер, чтобы глазом они были едва различимы, так, чтобы пожилой человек даже не смог бы их прочесть без очков. Если не встретится хороший мастер, сделать это трудно. Прошу тебя разузнать об этом и сообщить мне, при каких условиях и за какую цену взялись бы сделать это. Буквы такие мне нужны для напечатания карманного евангелия или какой иной книги,

Продолжение. Начало см. «Литературную Грузию» № 1 за 1983 г.

удобной в употреблении, чтобы можно было человеку носить ее с собой в кармане».

Однако Теймураз спешит уточнить, что заботится он не только о себе: «Манускрипты имеются у многих, есть и у меня — прекрасно написанные. Когда мы отправимся куда-нибудь путешествовать, то сохраним их в кармане для легкости. А многие грузины желают иметь напечатанные молитвенные книги. Вот для чего нужен мне мелкий шрифт. И хотя здесь тоже имеются мастера, но там они, наверное, лучше.

Поэтому прошу Вас узнать об этом и сообщить мне в письме, возможно это или нет».

Говоря о манускриптах, Теймураз, очевидно, имеет в виду возможность напечатания с них карманных книг. А мотивация обращения именно к заграничному мастеру, основанная пока что лишь на предположительной вере в его превосходство, со временем получит реальное подкрепление. Но, странное дело, стоило Теймуразу воочию убедиться в искусности французского мастера, как он тут же передумал заказывать шрифт в Париже. По получении от Мари Броссе пробных образцов текста Теймураз отвечает другу: «Воистину красивое и хорошее это письмо, и хорошо придумали Вы, что строки отдалены друг от друга. Так нагляднее видно письмо. Но если бы Вы написали мне и спросили, нужно ли взять из типографии эти буквы, то я сказал бы Вам: не просите их, они не нужны мне, так как хочу я буквы хуцური, совершенно иные. Здесь же мне пообещали, что найдут для меня мастера, который их изготовит. Если бы я был там, я бы сам мог показать, какие именно буквы мне нужны за мой счет. Видел я здесь французские буквы такие чистые и удивительно хорошо сделанные, что большей красоты не вообразить. Разумеется, человек, сделавший эти буквы, смог бы, если бы ему показали грузинские буквы, и их сделать так же красиво, ибо тамошние мастера весьма искусны. Поэтому написал я Вам, но сейчас это уже не нужно для меня».

На этот раз Мари Броссе решительно отказывается понимать грузинского царевича. Если Теймураз видел работу французского мастера еще до написания своего предыдущего письма, то почему не сообщил об этом тогда же? А если понравившийся ему французский шрифт он увидел только сейчас, то почему именно это обстоятельство побудило его отказаться от своего замысла? Ну да бог с ним! В конце концов решение принимать заказчику. Царезич перестал упоминать в своих письмах о шрифте. Со своей стороны, забыл об этом и Мари Броссе.

Между тем поневоле Теймураз присматривается к особенностям грузинских букв в текстах, которые печатает «Журналь типитик»: «Хороши и буквы в печатающихся ныне Законах Бахтанга, да и в прошлогодних журналах видел я отличное письмо мхедрули. Этот шрифт тоже хорош: видимо, сделали Вы его позже». Коль скоро Теймураз замечает появление даже легких изменений в грузинских шрифтах издания, то не значит ли это, что он продолжает присматриваться к грузинским буквам заинтересованным глазом? Может быть, не удалось найти подходящего мастера по шрифтам в Петербурге?

Так или иначе, Теймураз вернулся к своему первоначальному намерению заказать грузинский шрифт в Париже. Но как раз письмо, в котором об этом идет речь, предположительно написанное в 1834 году, не сохранилось. Мы располагаем лишь припиской к нему на отдельном листке бумаги, где царевич дает конкретные указания: как обрезать буквы, какого они должны быть размера. Вновь он почти слово в слово повторяет свое первоначальное пожелание иметь заглавные буквы. Всего должно быть 77 матриц грузинских букв.

Но тут происходит нечто неожиданное: вместо заказанных заглавных букв хуцури (которые, по мысли царевича, лучше подходили для текста библии), Мари Броссе самовольно решает отлить буквы другого шрифта, мхедрули. Замена встречена Теймуразом с радостью: «Эти чистые округлые буквы мхедрули, которые ты велел вырезать, воистину хороши. Хотя я и просил заглавные хуцури, но когда увидел эти, воистину понравились они мне на диво, и как только получу от тебя весть, тотчас вышлю тебе деньги».

По мнению специалистов типографского дела, замена одного шрифта другим напрашивалась сама собой: буквы хуцури плохо поддались бы уменьшению, в то время как шрифт мхедрули вполне подходил для петита. Остается узнать, сам ли Мари Броссе заметил это несоответствие или же правильное решение было подсказано ему французским мастером по шрифтам. Однако главное то, что Мари Броссе сделал правильный выбор.

Теймураз же, со своей стороны, не отказывается и от первоначального замысла: «Когда исполнены будут эти буквы, затем велим также вырезать заглавные».

Теймураз придирчиво присматривается к присылаемым Мари Броссе образцам букв, подробно обсуждает характер, направление, форму и размеры малейшей черточки; следит за тем, чтобы буквы хорошо принаравливались друг к другу, чтобы шрифт был одновременно экономным и эстетичным; из нескольких

образцов одной буквы по всестороннем рассмотрении выбирает наиболее целесообразную разновидность; не забывает позаботиться и о знаках препинания, соответствующих духу букв. В этом микрохозяйстве Теймураз чувствует себя полноправным и ответственным повелителем. В очертаниях будущих букв отольется не только металл, но и содержимое драгоценных рукописей из коллекции царевича: стихи и проза, научные трактаты и произведения изящной словесности, религиозные заповеди и философские раздумья... Каждое из этих сочинений любовно переписывали и как умели украшали переписчики разных столетий. В красивых волнах рукописных строк запечатлелись эти тексты, и Теймуразу очень не хотелось бы, чтобы печатный шрифт огрубил, искалечил бы их.

От буквы написанной к букве печатной ведет и преемственность, и качественно необратимый скачок. В рукописной строке буква едва заметно, но постоянно варьирует, живет во множестве своих перезоплощений. В печатной строке она обречена до бесконечности воспроизводиться в одной и той же застывшей своей ипостаси. Поэтому существенно важно, чтобы она застыла в своем наиболее прекрасном мгновении. Делая свой выбор, следует также решить, насколько данная разновидность буквы характерна, соответствует духу того или иного алфавита. Отсюда очевидно, как важно иметь в своем распоряжении большое количество хороших рукописей, чтобы произвести представительный и качественный отбор букв для шрифта. Именно из уважения к сохранности основных, исконных начертаний грузинских букв царевич Теймураз постоянно культивировал каллиграфическое письмо. Хотя каждая рукописная буква возникает из естественного движения руки, однажды возникнув, она навеки застывает, и не может быть речи о ее отделении от бумаги, пергамента, камня, на которых она выведена. Напротив, смирившись со своей заданной застылостью, полиграфическая буква, однажды отлитая, получает свободу передвижения и вступает в многочисленные сочетания с другими буквами, кочуя от строки к строке и накладываясь на множество воспроизводящих ее материалов.

Так случилось, что ответственный переход из рукописного в печатное состояние грузинская буква совершила на чужбине, вдали от родной земли. История эта занимательна, как приключение. Стремясь к сближению с католической церковью, в

1626—1629 годах царь Кахетии Теймураз I отправляет со своим послом Никифором Ирбахи тайное послание папе римскому. В Европе заинтересовались не только (и, может быть, не столько) содержанием послания царя Теймураза, но и необычными очертаниями грузинскими буквами. При помощи Никифора Ирбахи в ватиканской Коллегии пропаганды веры из отдельных букв Теймуразова письма составили алфавит и отлили грузинский шрифт. Так под сенью Вечного Города грузинская буква впервые стала частью шрифта и как таковая была сразу же использована для печатания вышедшего в 1629 году в Риме «Грузинско-итальянского словаря» Паолини. Первый грузинский шрифт, первая грузинская книга! Не без гордости думает о них царевич Теймураз.

Разумеется, этот первый грузинский шрифт носил полукустарный характер и недостатки его бросались в глаза. Особенно когда его клали рядом с до мелочей разработанным латинским шрифтом, к очертаниям которого в разное время прикасалась рука Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера. Невыгодное, но неизбежное сравнение: ибо единожды став шрифтом, новое хозяйство грузинских букв отныне могло развиваться и совершенствоваться только в постоянном общении с хозяйством других, более развитых шрифтов и с учетом их опыта роста.

В дальнейшем грузинский шрифт отливали в различных местах: в Константинополе, Москве, Венеции, Амстердаме, во французском городе Монтобана. Наконец покочесившие по миру грузинские буквы вернулись на родную землю, когда в начале XVIII века царь Вахтанг VI, предок царевича Теймураза, основал в Тифлисе первую грузинскую типографию. Злоключения истории Грузии препятствовали естественному развитию благого дела, но не могли полностью погасить его.

И вот сейчас царевич Теймураз чувствует себя преемником и продолжателем Вахтангова начинания, а вместе с ними приближается к шествию грузинской культуры и Мари Броссе. Поэтому не удивительно, что тема отливки шрифта все подробнее сбсуждается в письмах грузинского царевича.

Денег на шрифт Теймураз не жалеет, он жертвует последним. Посылая 19 мая 1835 года 165 франков для резчика букв, Теймураз пишет Мари Броссе: «На первый раз мастеру дай это, а остальное я тоже вскорости дошлю: разом не нашел я больше денег».

Но главное то, что Теймураз доволен и удовлетворения своего не скрывает: «Поверь мне, до сих пор еще не было таких букв для грузинского шрифта». И ревниво добавляет, имея в виду, очевидно, использовавшийся в «Журналь азиатик» шрифт:



«Из тех прочих букв, которые у тебя там имеются, не дай подбежать к этим ни одной, равно как и знаков орфографии». Теймураз имеет в виду знаки препинания. Если праздник, так праздник! Обновления он хочет полного: «Пусть мастер вырежет и орфографические знаки новые». Всего их царевич насчитал десять, вместе с собственно орфографическими знаками, употреблявшимися в то время в грузинском письме. За каждую букву условились платить мастеру 13 франков.

Теймураз собственноручно выводит те и другие. Порою он досадует на то, что иной знак получился у него длинноватым, и просит Мари Броссе, чтобы этот недостаток исправил мастер. И вообще последнему царевич настоятельно советует «хорошенько присмотреться» к каждой букве и срезать «как следует». И хотя Мари Броссе не свойственна поспешность, Теймураз не скудится и на наставления другу (настолько важно ему добиться хорошего качества шрифта): «Нижайше прошу тебя, друг мой Броссет, внимательным образом прочитать сие мое письмо и действовать по написанному...»

2 января 1836 года Теймураз вновь напоминает: «Прошу тебя, постарайся проследить, чтобы мастер хорошо уложил буквы; пусть он уложит их под Вашим наблюдением, с тем чтобы при печатании они не оказались наклоненными или удаленными друг от друга и чтобы орфографические знаки сели хорошо и стройно».

Такова лишь небольшая доля того потока замечаний, разъяснений, указаний и требований, который низвергается на Мари Броссе все то время, пока длится отливка шрифта.

Указания перемежаются с словами поощрения: «Ты пишешь мне о том, что сделан и исполнен грузинский алфавит. Знаю, что ты велишь сделать хорошо».

Наконец шрифт готов. Мари Броссе не доверит его случайностям почты. 9 января 1837 года Теймураз подтверждает Мари Броссе его получение. Благодаря прекрасному совпадению из Парижа в Петербург грузинский шрифт привезет представительница той страны, где осталась его колыбель: «Грузинские буквы, которые Вы прислали с итальянкой, и две сочиненные Вами книги получил. Большое спасибо», — пишет Теймураз.

Правда, в полученном пакете Теймураз не досчитался буквы «у» и нескольких орфографических знаков. Он просит Мари Броссе либо дослать их ему, либо привезти самому. А кроме того, Теймуразу не терпится увидеть новый шрифт в действии. Он

просит друга: «Что-нибудь небольшое вели напечатать для меня, несколько строк. Ради меня возьми на себя этот труд, чтобы увидел я, как выглядят напечатанными стихи из «Витязя в барсовой шкуре» или что-нибудь другое на одной страничке».

Теймураз желает также сохранить само начертание букв, с которых отливался шрифт: «...быть может, не оставишь ты подлинники букв и привезешь их с собою, а ежели не удастся тебе захватить их с собой и останутся они там, то напиши мне об этом и я отсюда поручу кому-нибудь, чтобы привезли их мне». Теймуразу дорого все, что связано с рождением шрифта, и в то же время он хочет сохранить в неприкосновенности свое авторство.

Вскоре Мари Броссе прибудет на берега Невы с сознанием выполненного долга и еще одной весомой услуги, оказанной грузинской культуре. С его легкой руки перед новым шрифтом откроется почетная перспектива. Петербургская Академия наук попросит Теймураза одолжить ей подлинники букв, чтобы отлить шрифт для своих изданий. Царевич с радостью одолжит алфавит на необходимый срок. Академия отольет шрифт и им в течение нескольких десятилетий будут пользоваться для печатания грузинских книг и цитат на грузинском языке. Поэтому и закрепится за ним название «академического». Под этим именем он и займет почетное место в истории грузинского книгопечатания.

Так от карманной книжки царевича потянется вереница других изданий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕТЕРБУРГ

I

ВСТРЕЧА

7 АПРЕЛЯ 1837 года император Николай I утвердил решение Российской Академии наук о приглашении Мари Броссе на открывшуюся вакансию академика. Как встретит его загадочный Петербург, о котором до Мари Броссе доходят суждения разнообразные и разноречивые? Иная страна, иные обычаи. Вблизи но все оказывается таким, каким видится издали. Два года спустя соотечественник Мари Броссе маркиз де Кюстин отправится

в монархическую Россию с намерением написать ей панегирик, а привезет с собой памфлет.

Для научного поприща Мари Броссе избрание в Петербургскую академию является и признанием, и началом качественно нового этапа. И устно, и письменно Броссе не раз приходилось отмечать, что в новых условиях серьезно изучать Грузию, не покидая Парижа, невозможно.

Пожалуй, отчетливее, чем повседневный быт (к которому он и в Париже-то не особенно присматривался), рисуются Мари Броссе научные возможности, которые открывает перед ним Петербург. Там не были обмануты надежды его давнего друга, Франсуа Шармуа. Там ждет его царевич Теймураз.

Конечно же, царевичу сообщит в первую очередь Мари Броссе о своем прибытии в Петербург. Ставя число на своей записке, пробегая взглядом ответ друга, он как-то особенно отчетливо ощущает раздвоение времени. Француз как бы переводит стрелки часов на несколько суток назад: в Петербурге — лишь седьмое июня, когда в Париже — уже девятнадцатое. Воистину, здесь спешат медленно! Начинающееся новое существование Мари Броссе и существование оставшихся во Франции родственников и друзей отныне еще необратимее отграничены. Кажется, и сама природа решила сыграть с пришельцем незлобивую шутку, приберегши для первого свидания самое необычное свое состояние: белые ночи.

Они как нельзя более идут Петербургу: его вспоротому улицами и прямолинейными «перспективами» простору, дыханию Балтики, молочному разливу Невы, опускающимся на ее безбрежную гладь ширококрылым белым чайкам...

По приезде семью Броссе радушно встретили на Васильевском острове, проводили ее тут же поблизости от административного корпуса в Дом Академии наук, поселили в скромной мебелированной кзартуре. Госпожа Броссе непривередлива. Она молча знакомится с расположением комнат, с любопытством скидывает взглядом причудливые контрасты европейской и российской мебели, своеобразную смесь домашней утвари. Назначение далеко не всех предметов для нее понятно. Но она ограничивается лишь двумя-тремя вопросами относительно самого необходимого, оставляя на будущее удовольствие постепенно раскрывать для себя «русскую душу» в молчаливых ее проявлениях, в следах работы безымянных мастеров из народа. Суетятся

дети, возбужденные бесконечной дорогой, переменой мест, калейдоскопом лиц и наречий. Превозмогая усталость, с мужской деловитостью задает неожиданные вопросы Лоран. Держится он независимо и с достоинством: ведь ему, как-никак, уже пошел седьмой год. Анриетта опекает крошку Мари.

Первым долгом г-жа Броссе всех троих отправляет спать. Кровати оказались непомерно большими, и дети еще некоторое время ерзают на них в поисках удобного положения. Затем наступает тишина и в ней становится различимым плеск невольской волны об гранитный парапет по ту сторону мощеной набережной. Г-жа Броссе вполголоса делится с мужем нахлынувшими ощущениями:

— Как здесь необычно, Мари! Распахнуто и... пустынно. Немного тревожно.

Мари Броссе обнимает жену за плечи, успокаивает ее, провожает в их новую спальню, а сам возвращается к окну и еще долго, как замороженный, смотрит на спящий под северным сиянием город. Немного наискось, почти напротив, блестит золотом шпиль Адмиралтейства. По левую руку от себя, через несколько домов, Мари Броссе угадывает местоположение Академии, своей новой службы. Вспоминается и давеча мелькнувший в самом начале Васильевского острова фасад петровской Кунсткамеры (это немецкое название лишь на мгновение вызывает в нем неосознанное удивление). Поодаль, на противоположном берегу (как и Адмиралтейство), профилируются стройные, поющие силуэты Эрмитажа, Зимнего дворца...

Впервые в своей жизни Мари Броссе осознает себя... островитянином. Но вот он улыбается прихотливому повороту собственных мыслей: он вдруг в новом качестве представил себе окончательно приблизившегося к нему другого островитянина, только что откликнувшегося на его весточку. Мари Броссе нащупывает в кармане сюртука записку и при бледном свете вновь пробегает ее глазами:

«Сын царя Грузии Теймураз обращается с полным почтением к господину члену Российской Академии Броссету и просит его прийти к нам на Васильевский остров, на Третью линию, в наше местопребывание, в понедельник, 7 (19) июня, в половине второго пополудни, для первого случая знакомства лицом к лицу».

Записка адресована «Господину члену Российской Академии Броссету в Санкт-Петербурге».

После воскресного отдыха «первое знакомство лицом к лицу» действительно состоялось в достопамятный понедельник. В этот день долгожданной встречи в дружественном доме они об-

30252 ПР101333

нялись по-братски, как два давних единомышленника, и потом еще долго, смеясь, заглядывали друг другу в глаза. Речь перемежалась французскими и грузинскими словами, русскими титлами. Фонетическое оформление всего этого было фантастическим и ни в какие закономерности не укладывалось. Жесты, интонации, указание на сам предмет разговора дополняли слова недостававшей им определенностью. Царская дочь Елена Амилахвари и г-жа Броссе нашли общий язык. Перезнакомились между собой и в играх испытали друг друга дети. Мужчины подошли к книгам и рукописям. Встреча завершилась за столом, где соседствовали блюда грузинские, общеевропейские и французские, было много незнакомого и удивительного. В головах путешественников еще мелькали теснившие друг друга картины пройденного пути, смешивались обрывки разноязычных фраз, отдельные черты, физиономии, жесты людей на постоянных дворах, на корабле, всплывали фрагменты городов. А Мари Броссе не верилось, что наконец-то свершилось: не нужно будет больше писать прошений, ходатайствовать, ждать ответа, строить ни к чему логическому и достоверному не приводящие предположения, сидеть в приемной господина министра просвещения, затем господина министра внутренних дел... Он — в Санкт-Петербурге по приглашению императорской Академии наук. Перед ним открывается отныне почти устоявшаяся и верная перспектива работы и свершений. До Грузии путь предстоит проделать такой же, как от Парижа сюда, но присутствие ее возросло несомненно: и в лице просвещенных грузин, и в виде книг, рукописей, древностей...

Переписка с Теймуразом не прекратится, но приобретет иной характер: друзья будут обмениваться короткими пригласительными записками, обещающими приятный вечер и немного веселья после напряженного рабочего дня. И уже не месяцами путешествуют от одного к другому их послания, но вручаются адресату в тот же день.

Теймураз рекомендует вниманию Броссе своего родственника, коллежского советника Николая Павловича Безака, который может оказаться ему необходим в Грузии. Г-н Безак ищет француза-гувернера для одной дружеской семьи в Тифлисе и надеется на помощь в этом вопросе со стороны Броссе.

Ничто так не способствует ознакомлению с образом мышления другого народа, с особенностями его быта и жизни, как

подобные практические нити, которые отныне все в большей степени будут связывать Мари Броссе с Грузией.

Теймураз просит друга на «торжество и большую церемонию» (в тексте: «лимонацию»).

Месяц с небольшим спустя после первой встречи царевич осведомляется: «Напиши мне о своих новостях, чем ты занимаешься и когда намереваешься прийти к нам со своей супругой».

8 апреля 1838 года Теймураз посылает Мари Броссе записку: «Сегодня во втором часу либо ровно в два я приду к Вам и отвезу Вас к господину Дадиани, моему племяннику Григолу, где мы и пообедаем, и хорошо проведем время с развлечениями. Будьте готовы и ждите меня у себя, чтобы мы отправились вместе».

Француз становится близким человеком в семье царевича. 31 января 1841 года Броссе получает приглашение: «Сегодня в шесть часов вечера приходи к нам сюда, будет свадьба дочери нашего Давида Иваныча, Дарьи. Обвенчаются молодые в нашей церкви. Тебе приятно будет на это посмотреть, да и время приятно проведешь».

Теймураз одалживает Мари Броссе книги и рукописи, доверяет ему свои труды: «..прошу Вас сохранить у себя написанные мною пояснения к «Витязю в барсовой шкуре» с тем, чтобы, когда у Вас будет для этого время, Вы бы перевели их на французский язык. Не передавайте их никому другому, так как на это нет моей воли. Когда я закончу еще половину пояснений, их тоже я передам Вам для перевода».

Живя по воле случая в нескольких минутах ходьбы друг от друга, Теймураз и Мари Броссе вступили в почти добрососедские отношения. Нередко — как в грустный вечер после похорон своего брата Баграта или после наполненного различными заботами и научными разысканиями дня — царевич неторопливым шагом направлялся вдоль Третьей линии к набережной Невы, окидывая взглядом привычную панораму города, Сенатскую площадь с еще живущими в памяти событиями декабристского восстания, медного всадника в его неустанном беге и, вдыхая влажный воздух и плотнее укутываясь при резких порывах ветра, приближался к дому Мари Броссе. Там его неизменно ждала радужная улыбка хозяина, тепло очага и немного мальчишеского озорства, всплывавшего к зрачкам усталых, натруженных глаз. Г-жа Броссе наливала рюмку ликера, иной раз подносила горячего грога, прекрасно отогревавшего с холода, или же, на рус-

ский лад, — стакан крепкого чая, и сама молча удалялась, ступая, не мешая оживленной и деловой беседе мужчин.

Теплое и немного странное ощущение овладевало царевичем. Не раз ловил он себя на том, что забывал во время беседы и об иностранном происхождении друга, и о его жизненном опыте, столь далеком от его собственного, и обращался к Мари Броссе как к соотечественнику. Причем не любому соотечественнику, а тому, кто горел теми же заботами, что и он сам, царский сын с растревоженным сердцем, кто с такой же чуткостью откликался на события многовековой давности. Конечно же, помимо неистовства самого Теймураза, этому способствовала и натура Мари Броссе, постоянно «подключенного» ко всему грузинскому и так же охотно отдающего, как и впитывающего все новое. Правда, у обоих мужчин были разные темпераменты, мироощущение, своеобразное восприятие и толкование явлений. И, однако, все это отступало перед основной страстью их жизни — страстью общения с Грузией, этой третьей незримой участницей их душевных бесед. Чувство благодарности охватывало Теймураза от осознания самого факта существования такого француза, словно бы в утешение посланного ему судьбой.

«Что и говорить, — со смешанным чувством горечи и признательности думал Теймураз, — не так уж часто встретишь грузина, столь кровно заинтересованного перипетиями своей родины, с кем с такой пользой для себя можно было бы обстоятельно обо всем поговорить и который с такой же отдачей продолжал бы гореть и во вторую, и в пятую, и в двадцатую встречу!»

Открывая страницы отечественной истории для Мари Броссе, Теймураз и сам новыми глазами видел многое.

Наконец друзья решили скрепить свои отношения священными узами: Теймураз крестил одного из детей Броссе. Доверительная нота зазвучала в концовках писем крестного отца.

В записке от 27 января 1843 года Теймураз рекомендует вниманию Броссе Свимона Табидзе, который в дальнейшем будет сотрудничать с французским ученым в некоторых его начинаниях. Молодой человек, которого Теймураз называет ласково-уменьшительным «Свимоника», был родом из Гурии. Он подвижался на поприще поэзии и книгопечатания, а также — как и некоторые образованные соотечественники — занимался перепиской древнегрузинских рукописей. Свимон Табидзе жил в Петер-

бурге и пользовался благорасположением царевича Теймураза. Сотрудничал он и в издании «Вепхисткаосани», осуществленном при участии Броссе в 1841 году. В этом издании ученый упоминает о нем в двустихии.

Проходили дни и годы, еще больше сближая двух южан, оказавшихся в северном городе. Общение с царевичем давало Мари Броссе живое ощущение Грузии, а для Теймураза пример друга был вернейшим залогом будущего подлинного внимания ученой Европы к его многострадальной и захватывающе интересной родине.

В Петербурге новые грузинские материалы дают обильную пищу для наблюдений. Во второй главе — «Клич рыцарей» — рассказано об исследованиях Мари Броссе, посвященных древнегрузинской литературе и, в частности, таким ее памятникам, как «Омайниани», «Барамниани», «Висрамниани», «Амирап-Дареджаниани». Броссе усматривает немало общего в жизненном кодексе грузинского и французского рыцарства.

Третья глава — «Дай хлеба Лазарю!» — восстанавливает основные моменты первого выступления Мари Броссе в Петербургской академии по вопросам изучения истории и цивилизации Грузии.

Поиск грузинских древностей приводит ученого в Москву.

IV

АРХИВЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

ПО поручению Академии Мари Броссе проводит лето 1838 года в Москве... в поисках следов исторического присутствия Грузии.

Дни стоят погожие, и молодой француз с удовольствием по долгу гуляет по улицам Москвы Священной, где чувствует себя Паломником Грузии. К тому же один грузин, Петре Кебадзе, постоянно сопровождает его во всех выходах и прогулках.

Мари Броссе любит золочеными куполами церквей, успокаивающим зубчатым ритмом кремлевской стены, приглушенной краснотой ее кирпича, затейливым многоцветьем Василия Блаженного, деревянными домами-старожилами, которые среди теснящих их каменных стен напоминают прохожему о рассыпанных вокруг, на необозримых просторах Руси, крестьянских избах.

Здесь, в Москве, вами в полную меру овладевает ощущение России, приглушенное в европеизированном Санкт-Петербурге.

Посетитель не скрывает от себя, что торопливый обзор древних древностей неизбежно окажется знакомством приблизительным и поверхностным. И все же богатство и разнообразие свидетельств удивит его. Собрать бы все следы, оставленные в Москве видными беженцами с Кавказа, узнать бы, какими литературными богатствами ныне живущих грузин можно пополнить коллекции Азиатского музея...

Соприкасаясь со зримыми следами исторического прошлого Грузии, Мари Броссе с чувством удовлетворенного самолюбия, словно речь идет о его личной заслуге, думает про себя, что среди всех народов Азии, бывших некогда христианами, одни только грузины на протяжении пятнадцати веков остались верны своей вере в окружении народов-идолопоклонников и мусульман. Очевидно, стойкость грузин нельзя приписывать только их искренней набожности. Помогли и национальная гордость, и заслон мощных, неприступных гор. Так или иначе, ни сельджуки, ни Чингисхан и Тимур, ни нашествия династий Белого Барана и Черного Барана, ни жестокости турок, ни кровавые расправы, с холодностью рассчитанные коварным шахом Аббасом I, ни, наконец, разнообразные бедствия, принесенные Надир-шахом и его евнухом Мохаммед-ханом, не сумели сломить волю грузинского народа. Он противостоял грозам, а затем, — размышляет Броссе, — увидев, что падение его неизбежно, бросился в объятия единственного покровителя, который был в состоянии обеспечить безопасность людям и покой — их совести.

Любуясь грузинской иконой Святой Богородицы, Мари Броссе помнит о том, что грузины относятся к ней с нежной любовью и воздают ей почести в знак сыновней приверженности: Мария и Святой Георгий являются как бы духовными отцом и матерью Грузии. Нет ни одного кантона, размышляет Броссе, на швейцарский лад окрещивая местные уезды, ни одной горы, ни одного подходящего для молитвы места, где бы грузины не воздвигли церкви или часовни в честь своих высоких покровителей.

Какими далекими кажутся Мари Броссе здесь, в Москве, среди многочисленных свидетельств грузинского прошлого, его первые шаги в качестве парижского востоковеда! Вспоминает он о формуле одного из писем Вахтанга VI на имя посланника Фран-

ции г-на де Фарреоля, при помощи следующей перифразы определяющей грузин: «Доставшиеся в удел Деве Марии». Это странное выражение он тогда, в Париже, в растерянности, как «особые служители Марии».

Мари Броссе посещает церкви, которые построили обосновавшиеся в Москве в последние годы царствования Петра Великого грузинские князья. Он идет в Пятницкую церковь в Охотном Ряду, что неподалеку от Кремля; в Донской монастырь, равно как и в церковь Всесвятскую, в пяти верстах от Москвы, по дороге в Петербург.

Сенатор Малиновский, директор Московского архива, к которому обратился Мари Броссе, освободил его от излишних розысков, сообщив ему интересующие его подробности относительно памятников города. Малиновский был к тому времени автором еще не изданного описания Москвы, которое он предоставил в распоряжение посетителя. Ознакомившись, в частности, с бумагами Пятницкой церкви, Малиновский констатировал, что нижняя часть здания была построена царем Имеретии Арчилем. Что до Донского монастыря, то хотя имена его основателей остались неизвестными Броссе, он знал, что грузины приписывали его своим князьям, могилы которых теснились со всех сторон вокруг монастырских стен.

Подойдя же к Всесвятской церкви, Мари Броссе, медленно собирая слоги в слова, прочитал русскую надпись на левой стене алтаря: «По указу Ея Императорского Величества, благочестивейшия Государыни Императрицы Анны Иоанновны, и по благословению святейшего правительствующего Синода, построена сия каменная церковь во имя всех святых и пречистыя, пресвятыя Богородицы всескорбящих, да святых и праведных Симеона богоприимца и Анны пророчицы, благоверною Имеретинскою царевною Дариею Арчиловною, для здравья Ея Величества и для вечного поминовения Ея Величества царских родителей; освящена сия каменная церковь 1736 г. сентября 12-го дня пресвященным Вениамином, епископом коломенским и коширским; поновися 1798 года преосвященным Тимофеем Иаковлевым».

Возле двух аркад, называемых Никольскими Воротами, в церкви, посвященной Иверской Богоматери, Мари Броссе любуется большой иконой Богоматери, держащей в руках младенца Иисуса. При осмотре иконы посетителю передается особое благоговение, с которым грузины относятся к этому образу. Слева от головы Святой Девы по-гречески выведено: «Иверская Мать Божия, называемая Портайтиса». Последнее слово, произ-

водное от «портал», или «дверь», заключает в себе, как знает Мари Броссе, собственную легенду.

Рассказывали, что во времена греческого императора фила (829—842 гг.), яростного иконоборца, гонца, отправленный в Никею, провел ночь у одной бедной вдовы и заметил у нее образ Святой Девы. Пришелец нанес ей несколько ударов саблей. Кровь хлынула из иконы, забрызгав богохульника. Гонец в ужасе бежал, а вдова, испугавшись повторения чего-либо подобного, бросила икону в море. Ветром ее понесло в сторону Афонской горы. Монахи увидели огромное сияние среди волн и почувствовали присутствие чудодейственного начала. Они снарядили барку и, подплыв к месту, озаренному сиянием, попытались подобрать образ. Но некий голос возгласил, что один только грузинский монах Габриэл достоин это сделать. То был отшельник, живший в горах. Когда ему сообщили о происшедшем, он, согласно сказанию, пошел по волнам и извлек святой образ, который затем водрузили в церкви. Но вскоре икона исчезла и ее обнаружили в келье монаха. Последний заявил, что воля Святой Девы такова, чтобы ее образ был выставлен для народного поклонения не в часовне, но на самой двери. Отсюда и пошло ее имя. Легенда эта пришла на память Броссе в то время, пока он рассматривал образ.

Рядом с текстом о Богородице Портаятиса Мари Броссе прочитал русскую надпись: «Отстроися вновь ся риза с венцами и золотою короною драгоценных камен тщанием же святейшего правительствующего Синода члена и их Императорских Высочеств законоучителя, преосвященного митрополита Московского, Калужского и Святой Троицкой лавры преосвященного архимандрита Платона».

Посещение и изучение грузинских древностей Москвы оказалось для Мари Броссе весьма сложным занятием. Ведь церкви, куда его вел научный интерес, были действующими, они всегда были полны верующих. Неугомонный посетитель, не довольствуясь тем, что внимательно и поневоле неторопливо читал надписи, пытаясь разобрать полустертые временем буквы, хотел еще переписать их в свою тетрадь. Но под недоброжелательными взглядами приходилось поторапливаться.

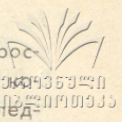
К тому же украшенная драгоценными металлами и камнями икона бдительно охранялась днем и ночью.

Мари Броссе безрезультатно спрашивал, в какое время и по чьему приказу был завершен и водружен в русской столице этот памятник веры и архитектуры. Но и в этом случае мощь пришла привычка историка хотя бы приблизительно датировать события путем различных умозаключений и дедукций. В анонимной книге «Достоверное и подробное описание монастырей Российской империи», изданной в Москве в 1829 году, он вычитал, что монастырь Святого Николая, основанный в 1556 году неподалеку от часовни, которую нынче рассматривал Броссе, в 1669 году находился под управлением архимандрита Пахома, назначенного царем Алексеем Михайловичем. Это высокопоставленное церковное лицо распорядилось, чтобы из Иверского монастыря на Афонской горе привезли копию образа Богоматери, которая с тех пор хранится в монастыре Святого Николая. Если бы икона уже находилась в Москве в указанное время, думает Мари Броссе, то Пахому не было бы никакой необходимости копировать ее. Таким образом, вероятно именно монастырь Святого Николая предоставил образец иконы церкви у Никольских Ворот.

В Китай-городе Мари Броссе посетил большую церковь Иверской Богоматери. Справа от иконостаса он увидел маленькую икону Святой Девы, поблескивавшую бриллиантами, под которой, на эмалевой дощечке, было написано по-русски: «Грузинская».

Сенатор Малиновский сообщил Мари Броссе, что, согласно преданию, русский купец Лазарев (а по словам церковного стража, Никита Никитов) приобрел в Персии в 1654 году грузинский образ, в честь которого и была построена церковь. Позже оригинал перенесли в Черногорский монастырь близ Архангельска, и лишь копия осталась в Москве, та самая, которой любовался Мари Броссе. Он спрашивал себя, в какой степени могли бы послужить для прояснения истории церкви стенные росписи, уже поврежденные к моменту его посещения.

Наконец, внизу Сухаревской башни, служившей резервуаром превосходной воды, поступавшей зимой и летом к московским фонтанам, Мари Броссе увидел другую часовню Иверской Богоматери. Грузины утверждали, что дополнявшие живопись полски позолоченного серебра, такие же крупные, как и в церкви Никольских Ворот, скрывали надпись на их языке, которую ученому хотелось бы прочитать. Но он отдает себе отчет в том, какие трудности препятствуют осуществлению этого намерения, и представляет себе, сколь высоким покровительством должен быть наделен человек, который пошел бы на это.



Рядом с древнегрузинскими памятниками Москвы Мари Броссе не забывает и новую реликвию, состоящую из золотой иконы, скипетра и сабли, посланных императором Павлом последнему царю Грузии и хранящихся в Оружейной Палате.

Мари Броссе пошел по следу еще одной легенды. Грузины утверждали, что Константин Великий дал Мириану, первому христианскому царю Грузии, один из гвоздей, которыми Спаситель был пригвожден к кресту. Будто эту святую реликвию привезли в Россию во время грузинской эмиграции, примерно в 1725 году. Броссе увидел ее, положенную в красивую вермелевую коробку. Каждый день реликвия привлекала большое число верующих, приходивших поцеловать ее. Ко времени посещения Мари Броссе рака, в которой она первоначально была заключена, находилась в сокровищнице церкви. Это была небольшая рака из чистого золота, украшенная драгоценными камнями и эмалями. На нижней полосе можно было прочесть довольно четкими грузинскими буквами выведенную надпись, разделенную нисходящими контрфорсами на три части: «Давид, сын Русуданы, царь всея Грузии, велел сделать эту раку для сохранения священного гвоздя».

Отсюда Мари Броссе заключил, что это почтенное произведение грузинского искусства насчитывало уже шесть столетий, поскольку Давид-Нарин царствовал с 1237 по 1272 год.

К его большому сожалению, некоторые обстоятельства помешали Мари Броссе посмотреть довольно значительное количество грузинских образов, которые, как ему было известно, находились в Москве, у трех князей — потомков Бакара. Однако ему обещали переписать надписи одной трети этой богатой коллекции, владельца которой в те дни не было в Москве.

Покончив с посещением церкви, Броссе обратился к погребениям, находившимся зачастую под сенью священных стен.

Историк знал, что царя Вахтанга, скончавшегося в Москве в 1725 году, сопровождали в северную столицу князья — его дяди или братья, сыновья знатных дворян его двора и главных лиц страны. Согласно одному подлинному документу, сохранившемуся в архивах Российской империи, свита грузинского царя состояла из 1185 человек, среди которых было 636 слуг. Большинство князей умерли в России, иные — в самой Москве, где проживает потомство некоторых из них. Собрание надписей на могилах этих лиц и составляло один из пунктов программы командировки Мари Броссе, утвержденной Петербургской академией.

Мари Броссе не надеялся увидеть что-либо особенно древнее в этих эпитафиях, которые, тем не менее, не казались ценными интереса для истории России и несомненно ценными были для истории Грузии.

Ведь сама древность — понятие относительное, и Мари Броссе думает про себя: «К тому же эта эпоха, сегодня столь близкая к нам, станет древней через два столетия, и тогда небрежность людей, разрушение зданий, влияние сурового климата окончательно разрушат уже и без того наполовину стертые воспоминания».

И Мари Броссе переписывает эпитафии. Неторопливо, старательно, подчиняя этому занятию и свою эрудицию, и критическое чутье ученого.

Среди эпитафий, переписанных рукой Мари Броссе, имеются и подлинные небольшие драматические поэмы, резюмирующие целые жизни, которые иначе оказались бы достоянием тьмы и забвения.

Одновременно с грузинскими Мари Броссе посещает многочисленные армянские погребения Москвы. Здесь, как и в Петербурге, наиболее старинные армянские погребения насчитывают не свыше ста лет и расположены в отдельной части немецкого кладбища. В Москве кладбище это находится недалеко от Семеновской заставы, внутри города: у входа выстроилось около сорока обветшалых могил с малоразличимыми надписями. В Петербурге они находятся в глубине Смоленского кладбища, на Васильевском острове. Броссе намеревается изучить и опубликовать надписи с могил наиболее известных людей, общественных деятелей, либо те из петербургских эпитафий, которые представляют самостоятельный интерес.

Что до грузин, погребенных в Москве и в Петербурге, то были, по большей части, люди знатные либо занимавшие высокое общественное положение. Мари Броссе осмотрел их надгробия: в церкви греческого монастыря, которому обязана своим названием Никольская улица в Китай-городе; в Донском монастыре, неподалеку от Калужской заставы; в Покровском монастыре, близ Рогожской заставы; на армянском и соседнем с ним русском кладбищах, где надписи, все недавние и сделанные на русском языке, представляли меньший интерес для историка. Пребывание в Москве приближалось к концу, дождь и ветер хлестали в лицо, и Мари Броссе не смог переписать и эти надписи.

Не оставил без внимания Мари Броссе и грузинские погребения вокруг Всесвятской церкви.

Но как бы человек ни старался, всегда остается еще что-то, что следовало бы посмотреть. Лишь по возвращении в Петербург узнал Мари Броссе о том, что в селении Пахра, в двадцати пяти верстах от города, имеется много грузинских могил. И Мари Броссе пообещал себе посетить их, если ему когда-нибудь доведется вновь увидеть Москву.

В отдельности, думает Мари Броссе, каждая из собранных им надписей, быть может, не представляет собой большой ценности, но вместе с петербургскими эпитафиями они предоставят исследователям интересную серию документов. В самом Петербурге Мари Броссе успел к тому времени ознакомиться с надписями на кладбище монастыря Святого Александра Невского; за внешней оградой стен маленькой церкви Святого Андрея, на Седьмой линии Васильевского острова. Иные захоронения вот уже давно оставлены без присмотра и, что называется, исчезают на глазах. Вотще искал их ученый по возвращении в Петербург из Москвы, наглядно убеждаясь в хрупкости истории.

Мари Броссе находит, что армянские надписи отличаются красотой и элегантностью, выведены заглавными буквами и производят живописное впечатление. Но содержание их весьма простое: имя и титулы усопшего, даты рождения и смерти. Грузинские же эпитафии, напротив, большей частью плохо высечены на камне, все они сделаны, за исключением одной только надписи в Донском монастыре, народными буквами (т. н. мхедрули), менее элегантными, нежели буквы хуцури. Округлые очертания мхедрули потеряли свой облик под резцом. Поэтому надписи, высеченные на камне и остававшиеся десятилетия под открытым небом, трудно поддаются прочтению. Зато большое число их сделано на мраморе, а в церквях — на медных дощечках. Но слог у них богат, и содержат они немало исторических подробностей.

Среди прочих Мари Броссе обращает внимание на следующую эпитафию: «Я, грешница Кетэван, супруга Каихосро, царя Грузии и генералиссимуса всей Персии, мать княжны Бегум, прибыла в 1722 году в Россию, в большой град стольный Москву, где получила крещение и приняла подлинную веру Христову: согласно закону, обрекающему нас в этом мире на переменчивость судьбы, я заплатила дань природе, умерев здесь, и погребена в греческой церкви при монастыре Святого Николая. Вы, посе-

щающие меня, молитесь за меня из любви к Богу! 3 мая 1830 года».

Трогательное напоминание содержит эта древнейшая из виденных Мари Броссе в Москве грузинских надгробных надписей. Историк берет на замету, что жена царя Каихосро прибыла в Россию мусульманкой. Факт этот в других известных Броссе источниках не упоминался. И хотя царица обратилась затем в христианскую веру, надпись оформлена по правилам ее первых единоверцев.

Бывают рассеянные посетители, которые смотрят, но не видят. Мари Броссе, напротив, доводилось представлять себе, домысливать не высеченную на иной могиле эпитафию. Так случилось с погребением юного усопшего сына Георгия XII. Ему посвящено небольшое стихотворение из пяти строф пера грузинского священника Тараса, написанное церковным ямбом. Эту эпитафию можно было прочесть на открытом кладбище монастыря Святого Александра Невского, за исключением первой строфы, не высеченной на могиле, которую Мари Броссе восстанавливает по оказавшемуся у него в руках оригиналу:

«Человек дважды получает жизнь: сначала вступая в этот бренный мир, а затем тогда, когда душа покидает тело; я, здесь покоящийся, получил эти два рождения, которые дарует нам Господь.

Вышедший из корня Давида, сын царя Георгия XII, который царствовал надо всей Иверией, я получил имя ангела Джибраила, ставшего моим покровителем.

Вследствие мирских смут мне в пору моей молодости досталось изгнание в чужую землю и много других горестей, поэтому пришлось уплатить дань природе, оставив царицу мою мать в слезах.

Родившись в 1788 году, 15 августа, я вышел из этого мира в 1812, 29 февраля, на двадцать пятом году моей жизни.

Придите, друзья моей юности, посетить сад, где я покоюсь — цветов, упавший с ветки Багратионов, соединяющий с пурпуром розы цвета нарда и лилии — помолитесь за меня, вы, читающий сие».

Если хорошая погода была желательна для посещения церквей и в еще большей степени — кладбищ, то разразившиеся грозы не могли помешать исследователю, укrywшемуся за стенами Московского архива. Его гостеприимно встретил директор архива, сенатор Малиновский, имя которого уже несколько раз упоминалось в этой главе.

Переход от одного рода занятий к другому был вполне естественным для Мари Броссе, который несколько меланхолично замечает, что «если интересно посещать архивы смерти, то менее интересны для науки архивы, где сохраняется память о действиях политических деятелей».

Любопытный эвфемизм: «архивы смерти»! Мрачный ореол небытия, мистическая «поэзия кладбищ» какого-нибудь Новалиса далеки от Мари Броссе. Интерес ученого обращен, в первую очередь, к живым, и история для него — не что иное, как страсти и поступки живых. Новое существование дает им внимательное перо исследователя или писателя.

Мари Броссе работает в архиве, в привычной для него обстановке. Время приобретает здесь особую плотность и толщу, новое измерение. Ученый снабжен двумя рекомендательными письмами, одно из которых подписано г-ном министром народного образования, а второе — г-ном Дивовым, который руководит министерством иностранных дел.

Волнение овладевает Мари Броссе, когда он пересекает порог архива: никогда еще люди, посвятившие себя изучению Востока, не вступали в это таинственное прибежище без того, чтобы не вынести отсюда полезных сведений. Просматривая эти бумаги, самые известные ориенталисты нового времени извлекали на свет, каждый в своей области, важные для истории Азии факты. «Что до меня, — продолжает свою мысль Броссе, — то мои надежды оправдались с лихвой». Одно лишь грузинское богатство Московского архива составляет такую массу документов, что, для того чтобы прочитать их и сделать из них хорошие выписки, следовало бы поработать несколько месяцев; а на ознакомление с материалами на русском языке ушло бы более года. Документы уложены в столь прекрасном порядке и со стороны директора, сенатора Малиновского, и сотрудников встречаешь такую предупредительность, что «невозможно представить себе, с какой быстротой все оказывается у тебя под рукой».

Древнейшие исторические документы, относящиеся к Грузии, восходят к 1586 году. Мари Броссе просматривает их в обратном хронологическом порядке, при котором материалы предстают тем более ценными, чем они древнее. Одно за другим проходят перед глазами: письмо царя Кахетии Александра II царю Федору Иоанновичу; другое письмо, направленное тем же царем боярину Борису Годунову; последний, став

царем, получает письмо на греческом языке, написанное ему 10 мая 1605 года царем Георгием, сыном Симона I, и которое доходит до адресата лишь 12 ноября того же года (Мари Броссе не увидит не оригинал этого письма, но только его русский перевод); еще одно письмо на греческом языке — от царя Грузии Георгия (имя его переводчик пишет на русский лад — «Иори») тому же Борису Годунову; письмо Левана Дадиани к царю Михаилу Феодоровичу и много других.

Не погружаясь в подробности, Мари Броссе пытается высвободить из всего этого материала цепочку интересующих его событий и действий. Ему бы хотелось подробнее заняться личностью и деятельностью Теймураза I, царя Кахетии. Ведь у историка под рукой ряд его писем, написанных по-гречески и очень длинных. Одно такое послание, предполагает он, в свернутом виде составило бы свиток длиной более чем в пятнадцать французских футов.

Мари Броссе испытывает притяжение личности царя Теймураза, столь выдающегося своим характером, мужеством и небожностью, правление которого отмечено превратностями судьбы. Он сожалеет о плохом почерке, каким написаны эти письма, полные сокращений, затрудняющих чтение. Жаль, что дни пролетают так быстро. Только этому занятию следовало бы посвятить несколько недель труда. «То небольшое, что мне удалось урвать, — замечает Мари Броссе, — полно подробностей о нашествиях шаха Аббаса в Кахетию, о мученичестве царицы Кетэван, матери царя Теймураза, наконец, о событиях современных, и позволяет шаг за шагом проследить карьеру грузинского монарха».

Да, именно «вырывать» приходилось клочок за клочком сведения у исторического прошлого, и Мари Броссе со страстью следопыта всматривался в обрисовывавшиеся контуры событий. Так в странствии между прошлым и настоящим растаяло шесть насыщенных недель.

В архиве Мари Броссе начинает, как загодя решил, с внимательного чтения русских, грузинских и греческих документов, общим числом 41, объединенных в две связки под заголовком «Грамоты и договоры». Он переписал грузинские документы и проанализировал остальное, за исключением упомянутых греческих писем, для которых времени не осталось. Пришлось также довольствоваться тем, что удалось лишь пробежать глазами стопку из 18 документов на грузинском языке, длинных и интересных, но относящихся к XVII столетию, т. е. сравнительно недавних.

И Мари Броссе с детской гордостью восклицает: «Так что я обладаю всем грузинским вплоть до последней эпохи!» Подобно бальзаковским персонажам, неистовый ученый движим страстью абсолюта и с юных лет стремится исчерпать все попадающиеся на пути материалы и, вопрошая их, извлечь из них пламя, озаряющее тьму веков.

Затем Мари Броссе рассмотрел объемистый реестр, где были классифицированы год за годом документы и факты, относившиеся к деловой переписке, охватывавшей 214 лет. Исследователь составил себе о ней достаточное представление.

Князь Оболенский, инспектор архивов, который своими советами помогал Броссе во время работы над документами, пообещал ему, что велит переписать для Академии то, что покажется ему важным для истории.

Мари Броссе намеревается тотчас же извлечь из этого научную пользу и, по возвращении в Петербург, он скажет академикам: «В связи с этим столь любезным предложением Академия вспомнит о том, что Азиатский музей обладает весьма подробной рукописной грузинской хроникой, относящейся к началу XVIII века. Этот труд, в высшей степени заинтересовавший нас, будет, я в этом уверен, вскоре переведен на французский и на русский. Если ко времени этой публикации ее издатель сможет еще раз посетить архив, но уже не второпях, а располагая достаточным для этого временем, то внутренняя история Грузии, опирающаяся на подлинные документы, составит памятник, достойный живого интереса обоих народов (докладчик имеет в виду Грузию и Россию) и всей Европы. Должен сказать, что священные обязательства звали меня в Петербург, в противном случае я тогда же попросил бы у Академии один семестр с тем, чтобы активно заняться этой работой».

Ученый пристально рассматривает печати переписывающихся сторон. Кроме печати царя Александра Имеретинского, его внимание привлекает печать Теймураза I в форме грубо обработанной груши. В центре находится большой крест, каждая из сторон которого создает крест меньших размеров; видны группы букв «Победу Иисусу Христу» — хорошо известный девиз православной религии. А по кругу выведено: «Милостию божией, Теймураз, царь вся Грузии».

На другой, меньшей по размерам печати того же царя в центре изображена корона и персидскими буквами обозначено имя Теймураза.

Баграт, царь Имеретии, пользовался шестиугольной печатью большого размера с крестом посередине.

Во времена Ираклия II судья Иесе располагал двумя печатями. Обе они содержали его имя, своеобразно обыгранное. Иесе прибегал к ним поочередно, в зависимости от того, находил ли он тяжбу справедливой или нет. Первая печать отмечала выигранное дело: «Судья, уходи, сие представляет согласие». Вторая печать содержала отрицательную сентенцию: «Это — потерянное время: несогласие».

Много других интересных подробностей узнавал Мари Броссе, рассматривая царские печати.

Ученому едва хватило времени на то, чтобы составить себе общее представление о наиболее важных грузинских рукописях, собранных московскими коллекционерами. Многочисленные рукописи находились в руках разных владельцев, охотно делившихся своими сокровищами с заинтересованными посетителями.

Мари Броссе знакомился с прекрасной библиотекой Ивана Никитича Царского. Его привела туда надежда найти несколько восточных рукописей. Увы, все собранные Иваном Никитичем сочинения, хотя и весьма старинные, оказались написанными на русском языке. Коллекционер, к тому времени удалившийся от дел, посвятил часть своего состояния приобретению древнейших памятников литературы и каллиграфии своей страны. «Любители, — замечает Мари Броссе, — не должны проезжать через Москву, не посетив эту превосходную коллекцию, обладатель которой показывает ее с величайшей любезностью».

В имперском архиве Мари Броссе показали, среди прочих, одну русскую рукопись, которую, как ему кажется, по справедливости можно было бы назвать живописной историей царя Алексея Михайловича. Рассматривая коллекцию, он продолжает думать об этой рукописи. В такое время, когда история народов вызывает всеобщее любопытство, воссозданные в древнем сочинении оригинальные картины повсюду в Европе вызвали бы живейший интерес.

Князь Авалишвили показал Мари Броссе грузинские древности — тринадцать прекрасных рукописей, исполненных на пергаменте и на восточной бумаге. Ученый знал о существовании этих рукописей и, еще будучи в Париже, описал их во введении к «Основам грузинского языка». Так Мари Броссе — как и Жюлю Верну — иногда доводилось описывать страны и рукописи, еще не видев их.

Гость нашел рукописи коллекции Авалишвили в хорошем состоянии, четко переписанными, но более ценными своей древностью и обстоятельствами своего появления на свет, нежели содержанием. В самом деле, то были богословские книги, а не оригинальные сочинения. Другое привлекает Броссе и о другом он жалеет: о том, что недосуг было познакомиться с пометками, сделанными переписчиками, и убедиться в достоверности проставленных дат.

Мари Броссе чувствует ответственность за все грузинские древности, с которыми он знакомится. Он заботится и об их сохранности для потомства: «Никто более меня не желал бы видеть, — докладывает он Академии, — как эти книги перейдут в наш Музей, если затребованная за них цена окажется, как я надеюсь, доступной. Ибо для того чтобы быть полной, коллекция должна содержать и превосходное, и посредственное, и даже плохое; и древнее, и новое».

Не случайно «новое» упомянуто рядом с «древним». До конца своей жизни Мари Броссе проявлял живой интерес к новейшей грузинской научной и литературной продукции, стремясь, под бременем своих разысканий, найти время и энергию для того, чтобы следить за развитием современной ему гуманистической мысли, памятуя о том, что со временем все становится историей.

Среди рукописей, увиденных в Москве, самым ценным для Мари Броссе оказался перевод «Анваре Сухейли» («Сияние Сухейли») — сборника басен, известных под именем басен Бидпая, — осуществленный царем Вахтангом VI и Сулханом-Саба Орбелиани. «Величина рукописи, — замечает он, — красота и размеренность письма, многочисленные иллюстрации обуславливают ее уникальность». Тщательный труд по переписке и украшению рукописи, по мысли ученого, вряд ли смог бы осуществить кто-либо из современников: при суетности будней не хватило бы целеустремленности и терпения. Броссе предложил Академии приобрести рукопись.

Значительна и ценность текста, собственноручно переписанного Вахушти. История создания этой рукописи знакома и близка Мари Броссе. Одно время многие грузины считали, что сочинение завершила царица Анна Имеретинская, оставившая его в наследство своему сыну, царевичу Константину. Он-то и владел рукописью, когда с нею познакомился Броссе. Граф Румянцев в

Гастон Буачидзе. Страницы жизни Мари Броссе.

свое время предложил за рукопись царице Анне весьма высокую цену, не сумев, однако, склонить ее.

Мари Броссе знакомится с рукописью, переписывая некоторые пассажи, делает пометки для будущих исследователей. Красивой копии он предпочитает черновой автограф.

Предполагаемый оригинал Вахушти представляет собой узкий, неудобный и плохо переплетенный том ин-фолио, покрытый тонким, неприятным на глаз письмом, испещренным сокращениями и потому трудно поддающимся беглому чтению. Рукопись насчитывает около семисот страниц, в которые не включены пятьдесят страниц оглавления и трактата по хронологии. Карты вперемежку разбросаны среди текста. Чернила бледные и выцветшие, имеется много помарок и даже заплат, приспособленных с большим тщанием и заключающих исправления. Все эти обстоятельства вполне вяжутся с представлением об автографе.

Для того чтобы убедиться в подлинности рукописи, Мари Броссе недостает образца почерка Вахушти. Только сравнение с ним служило бы научным доказательством. Правда, ученый располагает небольшой картой, присланной ему покойным бароном Розенкампом. Карту предположительно составил Вахушти. Мари Броссе сравнил оба почерка и убедился в сходстве очертания букв, их цвета, даже бумаги. К тому же в Московском архиве он видел несколько прошений с печатью Вахушти. У Броссе не осталось сомнений относительно совпадения почерков. Если Броссе так печется о приобретении Академией рукописи Вахушти, то для того, чтобы можно было достойным образом «рекомендовать его труд в глазах ученой Европы и грузинского народа».

После поездки в Москву, после посещения петербургских кладбищ, Мари Броссе возвращается к своему рабочему столу с окрепшей верой в возможность воссоздания непрерывной цепи исторического существования Грузии. Благодаря своим непреложным свидетельствам архивы жизни и смерти помогут ему ответить скептикам.

Новые начинания обычно не обходятся без скептических отрицателей. В научной полемике с одним из таких скептиков — арабистом и журналистом Осипом Сенковским — Мари Броссе наглядно демонстрирует перед ученым миром научные основы истории Грузии. Обо всем этом сказано в главе пятой: «Дело без слов и слова без дела».

ЗАХАРИЙ ПАЛАВАНДИШВИЛИ. СОВМЕСТНОЕ
ИЗДАНИЕ И НЕЛЕГКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ШЕДЕВРА

СО СТУДЕНТОМ Московского университета Захарием Палавандишвили, оказавшим ему моральную поддержку в полемике с Сенковским, Мари Броссе познакомился во время научной командировки в Москву летом 1838 года. Возможно, Захарий находился у своего крестного, князя Авалишвили, когда его посетил гость из Петербурга. Тогда же наладилась у Броссе деловая связь и с другим грузином — знакомым Захария Петром Кебадзе.

По возвращении в Петербург, 23 августа, Мари Броссе пишет Захарию в Москву. Письмо шло без дня месяц, и Захарий Палавандишвили недоумевает по поводу такого его опоздания. Ответ грузинского студента еще полон воспоминаний о встрече: «Во время Вашего пребывания здесь увидел я, как Вы милостивы ко мне, и то же подтверждает мне Ваше письмо. Не знаю, как и благодарить Вас за Вашу любовь ко мне! Поверьте, что не в силах я выразить в словах всего того, что чувствует мое сердце».

Горячо желает Захарий Палавандишвили и встречи со своим старшим другом и наставником и, главное, встречи Мари Броссе с Грузией: «Не испытываю я недостатка в новостях от Вас, — пишет Захарий летом 1843 года, — и радуюсь тому, что пребываете Вы в мире. До сих пор я надеялся, что зимой по пути в Грузию Вы проехали бы через Москву. А теперь узнал я из Вашего письма, что поездка отложена на два-три года. Удивляюсь я и не знаю, какая может быть тому причина. Думаю, что чем раньше состоится Ваша поездка в Грузию, тем лучше. А если наша с Вами встреча запоздает, то по окончании курса наук перееду к Вам на работу».

Мари Броссе и самому не терпится увидеть Грузию. Но состояние здоровья уже не такое, как десять лет тому назад, когда он в Париже затевал эту поездку. Дает о себе знать неустанный и порою чрезмерный труд. Возможно, на пути ученого встают и другие препятствия, кроме самочувствия, но Броссе тронуло спонтанное желание молодого друга встретиться и общаться с ним. Это правда, Броссе не обрастал холодной коркой отчужде-

ния, а, пожалуй, даже упрощал свои взаимоотношения с людьми (уроки жизни Сен-Мартена не предавались забвению). Если вспыхивавшие теплыми огоньками его глаза порою отбрасывали едва заметную тень дневной усталости, то бремени лет за его плечами не ощущалось.

Особенно интересной становится переписка после возвращения Захария Палавандишвили на родину. Захарий пишет Броссе вскоре по приезде, 8 января 1841 года, и его первые впечатления отражают увиденное привычным и одновременно сторонним взглядом: «Я счастлив, что наконец нахожусь в Тифлисе: в окружении моих родственников я здесь вкушаю все возможные удовольствия. Кажется, Тифлис изменился лишь по части архитектурных новшеств: та же жизнь, те же люди...»

Не дает покоя Захарии одна хорошая идея. Еще 8 января 1842 года он в шутовском ключе предлагал Мари Броссе: «Вы бы не желали иметь место директора здешних школ? Место это вакантное, займите его, приезжайте сюда и живите здесь со всей Вашей семьей для удовольствия, для науки и ради познания страны, которой Вы посвятили свою жизнь».

Это идущее от щедрого сердца предложение на мгновение будоражит Мари Броссе. А что, если действительно?.. Но он тут же спохватывается. Быть членом Петербургской академии и постоянно проживать на окраине империи, в Тифлисе—это наверняка вызовет ряд затруднений и с продвижением в печать научной продукции ученого, и с обеспечением ей достаточного резонанса. Да и несравнима укомплектованность тифлисской библиотеки с богатством петербургских книгохранилищ. Ведь в процессе работы постоянно приходится иметь под рукой разнообразный научный аппарат. Так что в интересах самой Грузии предпочтительно, чтобы занимающийся ею ученый жил вдали от нее.

Сходный путь проделывает и мысль самого Захария Палавандишвили, и он тут же на полях уточняет: «Однако это шутка. Она пришла мне на ум еще в Петербурге, но я не решился сказать Вам».

Но, как говорят, в каждой шутке есть доля правды. И 3 марта 1844 года жизненные обстоятельства побудили Захария вернуться к своему предложению: «Вы мне пишете, — говорит он Броссе, — что отказались от места в библиотеке. Это меня сначала удивило. Я знаю, что в Петербурге на научном поприще одновременно служат в нескольких местах. Для Вас, не занятого каждый день, второе место не должно было быть обременительным. В то же время я знаю, что для петербургской жизни Вашего оклада недостаточно».

Отсюда вывод: «Я по-прежнему жду Вас в Грузии. Не знаю, почему бы Вам не приехать сюда с семьей, чтобы пожить в Грузии лет десять? С Вашим окладом академика, служа еще в этом месте, Вы бы могли хорошо жить здесь, где жизнь менее дорога, чем в Петербурге. Главноуправляющий заботится об улучшении всех областей жизни. В конце этого года или, по меньшей мере, в начале будущего у нас появится политическая и литературная газета на русском, грузинском и татарском языках. Этим делом занимается само правительство. В Гори, как говорят, хотели бы иметь грузинскую газету».

Движимый добрым побуждением, Захарий, однако, сам первый осознает шаткость своей аргументации. Характерно, что на этот раз он ограничил срок пребывания семьи Броссе в Грузии десятком лет. Газета, «Кавказские ведомости», действительно появится, и Захарий какое-то время сможет ею руководить. Но если для публицистического и журналистского темперамента Захария газета предоставляет возможность воздействовать в желательном направлении на общественное мнение, то для Броссе: его фундаментальными научными разысканиями, не предназначенными для широкой публики, вряд ли это решение подходит. И все же Мари Броссе безгранично благодарен Захарию за настойчивую идею пригласить его в Грузию. Как говорил Паскаль, «у сердца есть свои доводы, неизвестные рассудку». А Броссе умеет ценить доводы сердца.

И, наконец, основное общее свершение: сразу по приезде в Тифлис Захарий Палавандишвили затрагивает в своей переписке вопрос о новом издании «Витязя в барсовой шкуре» на грузинском языке. За него взялись Мари Броссе, Давид Чубинашвили и сам Захарий Палавандишвили. Замысел, видимо, возник в Петербурге, незадолго до отъезда последнего в Грузию. Быть может, саму идею подсказал Захарий, лучше знавший постепенно зарождавшийся грузинский книжный рынок и духовные запросы соотечественников. И Мари Броссе увлекала возможность поработать на ниве грузинской культуры вслед за царем Вахтангом, первым издателем Руставели.

Предприятие было с самого начала хорошо встречено общественностью: «Новость о готовящемся издании «Таризла», — пишет Захарий Палавандишвили, — вызвала живое удовлетворение: образованные грузины (а их много: право же, я не поверил самому себе) пообещали мне найти подписчиков. Вскоре у меня

в руках будут некоторые комментарии, рукописи: три старинных экземпляра семей Орбелиани, Чавчавадзе и царевны Феклы. Я прочитаю их с чьей-либо помощью и сравню с печатным экземпляром».

Под печатным изданием Захарий имеет в виду вахтанговское издание Руставели 1712 года, после которого «Витязь в барсовой шкуре» не переиздавался.

По прошествии первого энтузиазма прогнозы Захария Палавандишвили становятся умереннее. 8 января 1841 года он торопит Броссе с печатанием, ибо, как ему сказали, «книгу раскупят в тысячах экземпляров, но жители Тифлиса стали немного недоверчивыми». Подобные сведения Захарий собирает наугад, без надежных критериев, так как закономерности спроса на книги никто не пытался установить. Это обстоятельство отрицательно скажется на предприятии и попеременно будет вселять в душу Захария то преувеличенные надежды, то мрачное разочарование.

Поскольку авторская рукопись «Витязя в барсовой шкуре» не сохранилась, перед издателями не мог не возникнуть вопрос определения текста и отбора его вариантов. К этому вопросу у Захария своеобразный подход, не отличающийся особой научностью, но спонтанный: «...мнение мое таково, что имеющихся у Вас вариантов достаточно для печатного «Таризла». Большая часть грузин придерживается этого мнения, и лишь ученые грузины (дураки) требуют, чтобы собрали различные экземпляры рукописи для установления вариантов. Однако проистекает это скорее от предрассудка грузин, которые восклицают, подобно детям: «У меня — лучшая рукопись!» Все будут довольны, если Вы воспроизведете уже напечатанный текст «Таризла» и снабдите его пояснениями».

С практической точки зрения, конечно, на это понадобилось бы меньше времени, а собирание рукописей, их критическое изучение и установление наиболее приближенного к авторскому тексту требовало трудоемкой работы, которая не считается полностью законченной и ныне, более ста лет спустя после Мари Броссе. Так что Захарий был по-своему прав, исходя из нужд дня. Но неспрavedливо суров Захарий по отношению к «дуракам» (слово это написано по-русски): ведь именно по пути сравнительного изучения рукописных вариантов пойдет в дальнейшем изучение, комментирование и издание руставелиевского текста. Да и сам Мари Броссе практически придерживается той же точки зрения, учитывая все доступные ему варианты и прося Захария сообщать ему о существовании других рукописей «Витязя».

Проспект книги поступил в Тифлис, и Захарий делится с Мари Броссе трудностями, связанными с распродажей их общего издания: «Вы опережаете меня в том, что касается «Тариэла»: верите ли, я продал всего три экземпляра. Все хотят иметь саму книгу, а не проспект издания. Нас всех называют здесь шарлатанами. Постарайтесь покончить со всем как можно раньше. Нет сомнения в том, что «Тариэл» разойдется».

Торопя события, Захарий заглядывает вперед: «Наш «Тариэл», очевидно, завершен, — пишет он Мари Броссе. — Транспорт от Петербурга до Тифлиса ужасен: обычно на перевозку уходит два месяца и более. Мне представляется лишь один способ доставить сюда несколько сотен экземпляров «Тариэла». Вот он: из Петербурга часто посылают в Тифлис нарочных. Вам бы следовало навести справки относительно них в канцелярии Военного министерства и, узнав, кто они, доверить им несколько сотен экземпляров».

Руставели действительно вышел из печати, но проблема доставки книг и их распространения оказалась сложнее, чем можно было подумать. Захарий повторяет свою мысль о том, что заранее, до прибытия тиража в Тифлис, нельзя думать о его распространении: покупатель должен видеть книгу. Загодя лишь несколько десятков человек обещало Захарию приобрести книгу и найти еще других покупателей для нее.

Для дорогого детища Захарий хочет — исходя из возможностей своего кошелька — выбрать подходящее одеяние. Он посылает деньги Броссе и просит его «дать переплести три экземпляра «Тариэла»: один — не в самый богатый, но красивый переплет, с позолоченными украшениями, как нынче делают на английский лад, а другой экземпляр вставить в переплет стоимостью примерно в один рубль серебром...» Эти два экземпляра заказчик предназначает своим дяде и тете. Для себя он довольствуется более скромным переплетом. Что касается тиража, то Захарий предлагает оформить его в виде «брошюры в жесткой обложке».

Наконец экземпляры Руставели начинают поступать к Захарию: одни по почте, другие — через купцов и случайных лиц. Уже имеется выручка от продажи в размере 80 рублей, которые Захарий вскоре вышлет Мари Броссе. Вопреки ожиданиям, книга продается с трудом. Еще 8 января 1842 года Захарий делился с Броссе своими соображениями на этот счет: «...хочу сказать Вам, как следовало бы действовать, чтобы в будущем распро-

дать наше издание. В Грузии имеется очень мало добровольных покупателей, следовательно, нужно принудить всех этих невежественных, но, по правде говоря, бедных людей. Вот как это сделать: пришлите мне письмо для Главноуправляющего этой страны. Его имя — Александр Скалон, его ранг — генерал-майор, его титул — Главноуправляющий Грузии и Имеретии. Ему следовало бы написать вежливое письмо с комплиментами (на французском языке, который он хорошо знает) и попросить его разослать по уездам по сто и более экземпляров. Письмо Вы вышлете мне, я его сам вручу. Обо мне Вы ему скажете, что я Ваш комиссионер в Тифлисе и чтобы он как можно скорее велел вручить мне деньги. Экземпляры передам ему я. Начальник его канцелярии обещал мне сделать все возможное. Доставка книги на месте по уездам нам ничего не будет стоить. Что касается пересылки из Петербурга сюда, то я очень сожалею о том, что Вы не нашли okazji отправить книги в большом количестве. Помоему, полезно было бы навести справки в военном министерстве, откуда высылают деньги. Комиссионеры согласились бы на перевозку за небольшую плату. Чиновники тоже могли бы взяться за это дело. В настоящее время, я знаю, что они собираются выслать деньги, но действовать нужно быстро».

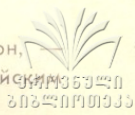
Так порою Захарий оказывается пленником своих разноречивых устремлений. Можно ли делать доброе дело, прибегая к насилию? Можно ли уповать на просвещение и презирать просвещаемых? И как бедному, при всем желании, найти деньги? Конечно же, природе Захария чужды эти поползновения, и он только на мгновение поддался своей горячности.

Не учел Захарий и особенностей характера Мари Броссе: тому претит лесть, хотя бы и вынужденная. А посему и не напишет он генералу Скалону, несмотря на напоминания из Тифлиса.

К 4 мая 1842 года положение дел с распространением Руставели мало изменилось: «Я должен казаться Вам довольно странным, — пишет Захарий, — что до сих пор продал всего лишь несколько десятков экземпляров «Тариэла». Но в том не совсем моя вина: Вам хорошо известна суть характера азиатских народов, среди которых я по настоящее время рассматриваю и грузин, и армян. Все, что мне удалось продать, я продал в Тифлисе, не посылая в провинции, ибо между производителями и потребителями существует крайнее недоверие».

Когда прибыл очередной пакет с изданием Руставели, главноуправляющий разослал в два уезда Грузии 180 экземпляров. Захарий хочет просить, чтобы то же сделали для двух других уездов. Но взлеты и надежды сменяются у Захария горьким

скепсисом: «От старых грузин нечего ожидать, — пишет он, у них нет ничего, что могло бы соответствовать европейским чувствам».



Издание расходуется туго. Невзирая на дважды повторенное распоряжение главноуправляющего предводителям уездов, общая выручка составила лишь 30 рублей серебром, т. е. распродалось на всю Грузию всего десять экземпляров! Такую мизерную сумму, в ожидании ее пополнения, Захарий не считал даже нужным выносить из канцелярии.

К 18 июня 1843 года по-прежнему мало утешительного. Помимо экземпляров, отправленных в Картли и Кахетию, у Захария взяли 40 книг для тифлисской гимназии. Но денег пока не видно. Захарий хочет также отправить сто экземпляров в Имеретию. «Еще в прошлом году, — сетует он, — я передал 15 экземпляров одному тифлисскому армянину, который занимается книжной торговлей, но до сих пор ему удалось продать лишь 8 экземпляров. Говорят, что книга дорога».

В феврале 1844 года в кассе Захария 36 рублей. В гимназии взяли книги, но денег ни гимназисты, ни уезды еще не уплатили. Однажды Захарий уже писал по этому поводу жалобу генералу Шрамму. Сейчас он намерен обратиться к генералу со второй желобой. «Экземпляры, которые были отправлены Главноуправляющим в уезды, не продаются. Говорят, что мне их вернут. Что поделаешь, в Грузии нет любителей книг, князья и дворяне говорят, что у них имеются рукописи...»

Не довольствуясь ни чужими, ни своими объяснениями, Захарий продолжает искать причины неудовлетворительного распространения издания. Ему даже начинает казаться, что книга «набрана мелким шрифтом, к которому грузины не привыкли».

Захарий хочет сделать все возможное, чтобы отделаться от двух сотен экземпляров, заполняющих его комнату. Из Кахетии вернули двадцать книг. Из гимназии наконец поступила выручка в 120 рублей, которую пунктуальный «комиссионер» тотчас же пересылает Мари Броссе. «Главноуправляющий, — пишет Захарий, — видя, что «Таризл» не продается в Картли и Кахетии, отказал мне в моей просьбе послать книгу в Гурию и Имеретию. Я предприму еще пятый демарш».

Одна беда тянет за собой другую. Захария подводят и здоровье, и дела. 31 июня 1844 года он пишет Мари Броссе: «Встаю с постели, чтобы написать Вам, г-н Броссе. Я болен вот

уже полтора месяца и это — последствия прошлогодней лихорадки. Слава Богу, силы возвращаются ко мне с каждым днем».

Теряя надежду на распространение издания, Броссе готов избавиться от остающихся экземпляров любой ценой. На что Захарий возражает: «Не помню, писал ли я Вам, что в прошлом году я заключил договор с одним армянским чиновником и его шурином, которые хотели приобрести все экземпляры по 2 рубля. Две недели спустя они передумали. Эти люди хорошо знают наш народ, который, если только не применить силу, ничего не делает по доброй воле.

Если Вы найдете в Москве покупателя, отдайте ему все экземпляры. Я буду очень доволен. В противном случае вышлите книги сюда. Меня, кажется, в августе отправляют в Кахетию. Возможно, мое присутствие чему-либо пособит. Недавно отправили в Имеретию 120 экземпляров. Я со всех сторон ожидаю денег. Однако из 60 экземпляров ни один не был продан в Картли».

Переписка с Захарием Палавандишвили неожиданно обрывается. Молодой грузинский корреспондент скончался, так и не дождавшись приезда в Грузию Мари Броссе. Сообщить в Петербург грустную весть выпало на долю историка Платона Иоселиани.

О нем Захарий не раз упоминал в своих письмах к Броссе. О человеческих свойствах своего друга Платона Захарий отзывался по-разному — иногда с одобрением, чаще — с незлобивой иронией, но всегда радовался его профессиональным успехам. Прочитав как-то в тифлиских газетах о том, что Платон Иоселиани готовит исследование о царице Тамар, Захарий заранее вынес свое суждение о нем: «Наверное, хорошо».

4 мая 1842 года Захарий писал Броссе о Платоне Иоселиани: «В пасхальную неделю он дал обед в честь молодых служащих грузин. Оказался там и я. Речь зашла о Вас и о Ваших заслугах перед Грузией и перед наукой. К концу обеда Платон велел подать шампанского, и в нашем маленьком кругу раздалось «Ура!» во здравие Броссе. Верьте в искреннюю привязанность грузин, понимающих дело».

И вот 26 января 1845 года Платон Иоселиани с болью в сердце пишет Броссе: «Очень печальна кончина Захария. Смерть его была удивительной. Неделю тому назад он простился со мной и уехал в деревню. Затем он вернулся в полном здравии, сидел со мной в редакции и беседовал с десяти часов до двенадцати.

Тогда же получил он жалованье за прошлый месяц и я дал ему расписаться в (бухгалтерской) книге. От меня отправился он в канцелярию губернатора с тем, чтобы пригласить его на вечер молодежи к себе. Оттуда во втором часу зашел он в лавку за покупками. Тут ему стало плохо, сел он в дрожки и подъехал к своей сестре, но с большим трудом. Второпях он крикнул, разденьте, мол, меня, чтобы я здесь лег, мне плохо. В тот же момент его стало знобить, он задрожал и, прежде чем его успели укрыть одеялом, испустил дух. Приехал врач, но уже не мог ему помочь. На второй день анатомическое вскрытие показало, будто у него было воспаление мозга».

Письмо Платона Иоселиани не застало Мари Броссе в Петербурге: он путешествовал по Европе, чтобы поправить здоровье. По возвращении, 30 сентября 1845 года, Броссе написал по-русски письмо соболезнования дяде Захария Палавандишвили:

«Ваше Сиятельство,

Князь Николай Осипович!

Возвратившись из чужих краев 13-го сентября, я узнал о неожиданной кончине любезнейшего друга моего, Вашего племянника, князя Захария Михайловича, и был до сердца огорчен. Познакомившись с ним в Москве, быв с ним в самых приятных отношениях в Санкт-Петербурге, я ценил его высоко и уверен был, что он в будущее время мог оказать большие услуги своему Отечеству. Примите удостоверение моего в том несчастном случае соучастия».

С кончиной Захария Палавандишвили из жизни Мари Броссе ушел чистосердечный друг, а грузинская культура потеряла одного из своих преданных строителей.

В главе седьмой — «По следам Вахушти» — рассказано об исследовании Мари Броссе жизни и научной деятельности крупнейшего грузинского историка и географа Вахушти Багратиони и о переводе им на французский язык части фундаментального труда последнего — «Описания царства Грузинского».

Глава восьмая — «Рассказ монет» — воссоздает перед читателем интересы Броссе в области грузинской нумизматики, а глава девятая — «Семена веры» — прослеживает взаимоотношения петербуржца с грузинским ученым Платоном Иоселиани.



ПОГОВОРИТЬ о Франции и Европе Мари Броссе, пожалуй, интереснее всего было бы с князем Александром Чавчавадзе. Но, разумеется, не только о Европе и Франции, а и о родине князя — в свете западной и восточной цивилизаций, для выявления духа и смысла культурного развития Грузии. Поэт, военный и общественный деятель, Александр Чавчавадзе был хорошо известен и у себя на родине, и при императорском дворе в Петербурге. В образованных кругах Тифлиса многие считали его «первым человеком». Не будучи знакомым с Александром Чавчавадзе, нельзя было полностью представить картину интеллектуальной жизни Грузии тех лет и общественных ее устремлений.

Ряд обстоятельств создавал почву и непосредственно для взаимопонимания между Александром Чавчавадзе и Мари Броссе. Родившийся в Петербурге в 1786 году, Александр был на шестнадцать лет старше Мари Броссе и принадлежал к поколению его учителей — Сен-Мартена, Абеля-Ремюза, Теймураза Багратиони. Среди языков, которыми владел Александр Чавчавадзе (русский, французский, немецкий), особое место отводилось французскому.

Александр Чавчавадзе первым решительно сблизил грузинскую литературу с новейшей европейской литературой. Отдал он дань и хорошо знакомой ему восточной поэзии, мотивы и формы которой успешно развил в своей лирике. Крупное и оригинальное явление новой грузинской литературы, поэтическое творчество Александра Чавчавадзе успешно осуществляло синтез привлекавших его восточных и западных элементов. Причем общая схема осмысления мира и шкала ценностей грузинского поэта находились в преемственной связи с европейской и, в первую очередь, французской цивилизацией. Именно из беседы с князем Чавчавадзе Мари Броссе смог бы вынести наиболее полные впечатления о том, что означали передовые идеи Франции на грузинской земле.

В свои духовные учителя Александр Чавчавадзе выбрал тех, на чьих произведениях воспитывался, как и другие его соотечественники, Мари Броссе: Вольтера, Корнеля, Расина... Каждое из этих имен находило и глубоко личный отголосок в сердце грузина. С колониальным гнетом царизма Александр Чавчавадзе никогда не мог смириться. В молодости он участвовал в вооруженном выступлении грузинских крестьян 1804 года, а в зрелом возрасте являлся хоть и не названным, но фактическим руководи-

лем дворянского заговора 1832 года. Оба раза он привлекался к ответственности, находился под следствием, побывал в тюрьме и ссылке.

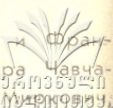
У Александра Чавчавадзе и Мари Броссе оказался небезызвестный общий знакомый, французский дипломат Летелье, бывавший в доме князя именно в период подготовки заговора 1832 года. Помимо Летелье, Чавчавадзе был знаком и с французским консулом Гамбой, автором описания Грузии. Если верить официальным подозрениям и донесениям, то Броссе разделял тогда чаяния заговорщиков...

В идейном арсенале князя-бунтаря не последнее место занимало наследие французских просветителей: Монтескье, Жан-Жака Руссо, Вольтера. Да, вместе с другими радикально настроенными грузинами Александр Чавчавадзе был носителем вольтерיאства, лучи которого обжигали власть имущих и на берегах Невы, и за Кавказским хребтом. Созвучно пламенному осуждению Жан-Жаком несправедливостей человеческого общежития билось сердце Александра Чавчавадзе. Но и в событиях более отдаленных, в истории тираноборца и заговорщика Цинны, драматически воссозданной пером Корнеля, чудилось грузинскому поэту родственное своему состояние духа.

Примерно в одно время, еще ничего не зная друг о друге, Мари Броссе знакомил любознательных французов с грузинской повестью «Мириани», а Александр Чавчавадзе переводил на грузинский пьесы Корнеля, Расина и Вольтера. Так направлялось естественное встречное движение людей и цивилизаций, которым было что сказать друг другу.

События привели Александра Чавчавадзе в Париж раньше, чем Мари Броссе удалось приехать в Тифлис. Участник войны 1812 года, на землю Франции князь Чавчавадзе ступил в составе союзных войск, нанесших поражение Наполеону. Но проведенные в Париже месяцы офицер русских войск употребил на углубление знакомства с французским гением и с распространявшимися из французской столицы идеями.

После пребывания в Европе, примерно к 1820 году, Александр Чавчавадзе завершил строительство своего имения в Цинандали, задуманного в «итальянском» стиле. Своих дочерей — красавиц Нино и Екатерину он тоже воспитал на европейский лад. Двери имения в Цинандали хозяин широко открыл для гостей, в том числе и для иностранных путешественников.



А еще судьба провела между грузинским князем и Францией одну неожиданную нить. Одноклассник Александра Чавчавадзе по петербургскому пажеескому корпусу, Федор Мурадели, был учеником прогрессивно настроенного француза, Будри. Будри же приходился родным братом Марату... Так что между строками Александром и Федором, несомненно, заходила речь и о народном трибуне. Возможно, в Париже Александру Чавчавадзе довелось взглянуть на Давидову «Смерть Марата»?

Но и позже, несмотря на занятость служебными делами, светскими обязанностями, своим творчеством, Александру Чавчавадзе удавалось следить за крупнейшими событиями французской культурной жизни. В то время, когда Александр Чавчавадзе оказался в Париже, Виктору Гюго (как, впрочем, и Мари Броссе) шел тринадцатый год. Никому не известный юноша делал свои первые ученические пробы в стихосложении. Но вот летом 1837 года — когда Броссе из Парижа переезжал в Петербург — в Грузии побывал английский путешественник Уайльбрехем. Англичанина, не скрывавшего свою малую осведомленность по части французских литературных новинок, поразила начитанность грузин. О своем визите в один из тифлисских домов он записал: «Меня позабавило разнообразие мыслей, высказанных о Викторе Гюго, чьи произведения, равно как и сочинения... других писателей французской школы, лежали на столе. Я признался в том, что не встречал этих книг и не читал даже знаменитого «Собора Парижской богоматери». В связи с чем тотчас же кто-то воскликнул: «Где же вы могли находиться, чтобы не прочитать великолепных сочинений Виктора Гюго?»

«Собор Парижской богоматери» вышел в Париже в 1831 году, а на русский язык роман впервые перевели лишь в 1862 году. Так что это и другие произведения французской литературы распространялись среди грузинской интеллигенции в подлиннике и притом довольно быстро. Так и в будущем далекий «розовый Тифлис» откликался на будоражившие мир произведения вождя французских романтиков. Рано стала известна в Грузии, наряду с его прозой, и поэзия Виктора Гюго. Свою лепту вносил в ознакомление с нею и Александр Чавчавадзе. Когда грузинские поэты устроили своеобразный турнир, чтобы увидеть, кто лучше переведет стихотворение Гюго «Если бы я был королем», в этом соревновании принял участие и Александр Чавчавадзе. Творчество Виктора Гюго многими своими сторонами оказалось созвучно грузинскому поэту.

Испробовал Чавчавадзе свое перо и как исследователь прошлого, написав «Краткий исторический очерк Грузии».

Наверное, Александр Чавчавадзе и Мари Броссе могли поговорить и о Буало, и об Эваристе Парни...

Всего этого не случилось. Но заочное знакомство Александр Чавчавадзе и Мари Броссе тем не менее состоялось, при посредничестве Платона Иоселиани, и каждая подробность этого их опосредствованного общения дорога нам. Платон поддерживал контакты с Александром Чавчавадзе, к тому времени — генералом. О том, какое значение Мари Броссе придавал деятельности Чавчавадзе, свидетельствует то обстоятельство, что ученый постарался наладить с ним связь вскоре же по приезде в Россию. Уже 14 апреля 1838 года Платон Иоселиани пишет Броссе: «Генерал Александр Чавчавадзе передает Вам посредством моего письма привет».

Особенно драгоценным было бы: обнаружение письма Мари Броссе, адресованного самому Александру Чавчавадзе; об этом письме 16 июня 1838 года упоминает Платон Иоселиани: «Александру Чавчавадзе я передал написанное Вами на его имя письмо. Уверяю Вас, что он письму очень обрадовался, и поскольку ему тогда нездоровилось, я прочитал ему текст один раз. Но и в разное время он вновь и вновь пожелал послушать его». Содержание письма оказалось для адресата особенно волнующим. Заключало оно, надо думать, и полные энтузиазма мысли Мари Броссе о грузинской культуре и истории, в ключе его достопамятной речи в Петербургской академии. Александр Чавчавадзе не мог не оценить значения выхода грузинской культуры на международную арену в столь благоприятных условиях.

Далее Платон Иоселиани пишет, возможно имея в виду роспись какой-либо грузинской церкви, подписи к которой он переписал в одну из своих поездок по Грузии: «Очень понравилась (Александру Чавчавадзе) и роспись, которую показывал я ему и ранее. Я ее также вычитал и выписал. Думаю, что со следующей почтой, если сочту необходимым, вышлю ее Вам».

Мари Броссе энергично налаживал переписку и с другими интересными людьми на Кавказе. Среди них находился библиофил и ученый барон Ган. О нем идет речь в письме Платона Иоселиани к Броссе от 23 июня 1838 года: «Сенатор Ган получил Ваше письмо, о чем сказал мне Александр Чавчавадзе, и разыскивает что-либо, чтобы выслать Вам».

Александр Чавчавадзе вновь передает Вам привет и просит передать, что из-за множества дел не смог написать Вам ответ».

А жаль.

Летом 1838 года, как об этом Иоселиани писал Броссе, на Грузию обрушилась беда: эпидемия чумы. Различные меры и мероприятия по борьбе с эпидемией продолжались до 1841 года. Начальником «карантинной зоны» назначили Александра Чавчавадзе. Приходилось много ездить, заботиться об обеспечении санитарных условий, снабжать население медикаментами и налаживать медицинскую помощь. В условиях отсталой царской России организовать все это было нелегко. Неизгладимыми оставались картины ужасных страданий людей. Немудрено, что ему все недосуг было написать ответ Мари Броссе.

Об этих обстоятельствах упоминает в письме к последнему Платон Иоселиани 4 августа 1838 года: «Александра Чавчавадзе здесь нет. Его назначили временным надзирателем на границе карантина в Ахалцихе и Имеретии».

Ценные сведения об отголоске в Грузии на речь Броссе в Академии содержит письмо Иоселиани к последнему от 1 сентября 1838 года: «Присланные Вами книжки Discours (à l'Académie) и прочие тетради г-на Шёгрена получил я из рук Зяблочкого и профессора Петербургского университета г-на Порошина, который уже выехал отсюда назад, из страха перед усилившейся в городе Ахалцихе чумой. Порошин привезет Вам и небольшое мое письмо. Ваша речь поистине весьма понравилась мне и я очень признателен Вам за то, что Вы мне ее преподнесли. Второй экземпляр я тотчас же послал князю Чавчавадзе».

Возможно, к Мари Броссе не поступило от Александра Чавчавадзе отклика и на эту посылку. Но происходило это не от невнимания Александра Чавчавадзе к тексту речи, а, опять-таки, из-за его перегруженности различными заботами. Об этом прекрасно знал общавшийся с князем Платон Иоселиани. Поэтому 10 ноября 1838 года Платон советует Мари Броссе относительно его нового труда «Пояснение к различным древнегрузинским надписям», вышедшего, как и предыдущий, на французском языке: «Недурно было бы, если бы один экземпляр Вашей книги Вы послали генералу Чавчавадзе. Текст Вашей речи его очень обрадовал, и поскольку сам он был болен, то я ему читал в течение двух дней, и на всем протяжении чтения он испытывал удовольствие. Велел он передать Вам привет от него».

Между скупых иоселианиевских строк встает образ патриота, с неослабным вниманием следящего за научными разысканиями Мари Броссе. Конечно же, Броссе с радостью вышлет еще один экземпляр своей работы для чуткого князя Чавчавадзе.

По-прежнему Платон Иоселиани передает Броссе приветы от Александра Чавчавадзе, а 10 октября 1840 года описывает ему интересное событие: «В лесах, неподалеку от села Напареули, крепостные Александра Чавчавадзе обнаружили идол древних огнепоклонников, и я велел перенести находку ко мне. Однако зять князя, Давид Дадиани, не разрешил мне выслать ее Вам. Сам отвез ее к себе в Мингрелию. Вы спросите, что это такое? Я отыскал его лицо в книге, называемой «Образование древних народов», сочинение Бадона... В ней обнаружил я, что это — грифон, похожий на то изображение, которое имеется в третьем томе упомянутой книги на 185-й странице, с той, однако, разницей, что у нашего идола хвост не стоит торчком, как это видно на иллюстрации, и, кроме того, лапа у него не положена на принесенную в жертву голову...»

То, что не могло быть высказано в переписке из-за повседневных забот, чему не дано было облечься в естественные интонации непосредственного общения, могло свершиться при встрече Мари Броссе и Александра Чавчавадзе.

Увы, встрече этой не суждено было состояться. За год до приезда Броссе в Тифлис, 18 ноября 1846 года, Александр Чавчавадзе трагически погиб. В первом часу пополудни князь выехал из своего дома в экипаже. Спуск был крутой, лошади внезапно понесли. Александр Чавчавадзе привстал, чтобы помочь кучеру справиться с ними. Полу княжеского пальто затянуло в колесо, его самого сбросило на мостовую. Смертельно раненный князь скончался у себя дома на следующее утро.

Платон Иоселиани сокрушенно сообщает: «Безутешно плачут по нем осиротевшие его домочадцы, безутешно сокрушается вся Грузия».

А в холодном Петербурге болью отдалась эта весть в сердце Мари Броссе.

XI

ПРОЩАНИЕ

ТРЕМЯ неделями раньше другую горькую потерю понес Мари Броссе. Сумрачным осенним утром 1846 года ему сообщили о кончине Теймураза.

В свое время лечение на минеральных водах Богемии пошло царевичу на пользу. Благоотворно влияла и вера в действитель-

ность проведенного лечения. Но прошло десять лет в трудах и заботах. Свыкнуться со свинцовым небом изгнанник так и не смог. Подтачивала тоска по синеве родных небес, по крутизне гор и нежной зелени весенних лугов. Встречая меньше сопротивления на своем пути, недуг прогрессировал, и наконец врачам стало ясно, что они имеют дело с водянкой.

Теймуразу не было еще шестидесяти пяти, когда он отчетливо осознал неминуемое приближение конца. Все взвесив и трезвым взглядом окинув состояние своих дел, царевич загодя составил завещание. Детей у него не было и поэтому заботу свою он безраздельно обращал к подруге жизни: царевне Елене предстояло остаться одной.

Всю свою сознательную жизнь, а особенно после приезда в Петербург, царевич Теймураз Багратиони пытался делать хорошую мину при плохой игре: суть положения все же заключалась в том, что его оторвали от родной земли и содержали в почетном изгнании. Средства выделялись минимальные, а нужно было поддерживать приличествующую видимость. Денег не хватало даже на содержание дома, поставленного на среднюю ногу, без помпы и роскоши. Когда Броссе находился далеко, в Париже, Теймураз еще мог представить в своих письмах, будто он продал прежний свой дом на Васильевском острове с тем, чтобы приобрести что-то получше, а на самом деле, не будучи в состоянии платить за него, перешел в дом посромнее, с маловыразительным фасадом.

Да, все это было. Но сейчас, подводя итог своей жизни, Теймураз не мог и не желал кривить душой. Еще в начале года, который оказался для него последним, 2 февраля царевич обмакнул в чернила перо и как добрый христианин и преданный супруг вывел первые строки завещания: «Во имя отца и сына и святого духа, аминь! С помощью пречистой Богородицы и креста животворящего составляю сие завещание, желаннейшая супруга моя, царская невестка Елена, дочь Отара Амилахзри!»

Этикет обращения царевич выдержал до конца. Не преминул и в последний раз заверить супругу в живости сохранившегося к ней чувства. Сделав усилие над собой и смирил гордыню, Теймураз продолжал: «С юности своей, по причине различнейших превратностей судьбы, жил я почти в стеснении, велику не осталось у меня никакого богатства от родителей и не приобрел я сам ничего иного и ежели все деньги, которыми располагала ты, супруга моя, потратил я полностью и ежели были у тебя какие драгоценности или изделия из серебра, то все это заложил я в ломбарде, не сумев затем выку-

жить ничего, и сохранились у тебя лишь расписки, а я остался должником твоим».

Болью отдаются эти слова правдивой исповеди в сердце царевича. Суровая и теперь уже не подлежащая изменению картина жизни встает перед ним. Назвать что-то, значит — признать. До сих пор даже наедине с собой не делал Теймураз подобных признаний: жил и боролся. А пока борешься, всегда есть надежда изменить соотношение вещей. Ну, а сейчас... Сейчас мысль Теймураза вновь возвращается к той, кто остается жить. Пусть в ее пользу, если это возможно, изменится соотношение вещей. Теймураз надеется, что государь император не обделит своим вниманием овдовевшую царевну, невестку последнего царя Грузии... Несомненно, по монаршей воле назначат теперь царевне Елене пенсию, которую до конца своих дней получал Теймураз. И не сотрет государь имени теймуразова, пока жива будет свидетельница и участница его жизни.

Жене завещает Теймураз и свою долю имеющегося в Тифлисе каразан-сарая, уточняя при этом: «сей караван-сарай наш расположен на второй Сионской улице, во втором квартале».

Последний отблеск надежды озаряет сознание царевича: коль скоро не удалось ему, невзирая на все его старания, пожить на родине и завершить свои дни на грузинской земле, то, быть может, это счастье улыбнется Елене. И если решит она поселиться в Грузии, то вот ей его совет: «...выбери какую-нибудь поврежденную или полуразвалившуюся церковь, восстанови ее таким образом, чтобы она навечно стала твоей и чтобы навеки не забыла ты о душе моей».

Есть у Теймураза и сокровенная мечта, касающаяся самого драгоценного, что ему удалось собрать на протяжении жизни. И эту свою просьбу просьб поверяет он Елене: «Мои грузинские книги полностью оставляю тебе, а после тебя — церкви моей. Там, где поселишься ты, нужно будет выделить помещение, где расставят все книги, как церковные, так и светские, чтобы навечно хранились они там и чтобы пользовался ими народ Грузии».

Да, как единое и дорогое существо воспринимает царевич в минуту расставания с земной юдолью «народ Грузии». И если бы его сейчас спросили: для кого, превозмогая боль телесную, незгоды духовные, приступы хандры и сомнения, старался он, становясь выше мелких слабостей, подлинно воздымая свое брэнное честолюбие; ради кого он был столь щепетилен к почестям, оказываемым его смертной особе? Если бы спросили

его обо всем этом, то с чувством полного слияния с истинной смог бы он ответить: ради народа Грузии.

И вот последний час пробил. 25 октября, стоя у открытой могилы, Мари Броссе обращает к другу и учителю слова прощания на его родном грузинском языке. Голос его звучит глухо:

«Милостивые государи!

Собрались мы сегодня, чтобы отдать последние почести, одни — родственнику, другие — знакомому, благодетельному и милосердному господину, я же — весьма уважаемому и сердечно любимому мастеру царевичу Теймуразу, сыну царя Георгия».

Есть нечто символическое и обнадеживающее в том, что кончину сына последнего царя Грузии оплакивает не человек из его свиты или окружения, а мирный и бескорыстный исследователь истории Грузии. Присутствие этого чужеземца по рождению на траурной церемонии является гарантией того, что ни со смертью царя, ни с кончиной царевича не умирает деяние народа грузинского. Быть может, даже вступает оно сейчас в круг новый и более широкий, где народы различными свойствами своими восполняют друг друга и, делясь накопленными богатствами, вместе становятся намного состоятельнее.

Выразительными штрихами набрасывает Мари Броссе духовный портрет усопшего: «Все мы, здесь находящиеся, знаем, какой была гражданственность царевича: возлюбивший прежде всего Бога, покорный исполнитель воли Его, милосердный к бедному, оказавший уважение и благодеяние всем грузинам, кто бы они ни были, дни и годы своей жизни провел он в кругу родичей и знакомых. По-дружески принимавший всех, не был он высокомерен и никогда не являл лика разгневанного или объятого какой-нибудь дурной страстью. Слуги преданно служили господину, знакомые всегда с новой радостью видели доброгоalebосольного хозяина, а сколь любили родственники добро-сердечного и преданного единокровного своего!».

Объемными, проникнутыми чувством словами удается Мари Броссе лепить характер царевича Теймураза. Сделав паузу, оратор обращается к оставшейся в одиночестве женщине:

«Что сказать мне Вам, супруге царевича, образованнейшей княгине Амилахвари Елене Отаровне? Вам, в течение стольких лет жившей с ним во счастья и ныне оставшейся без утешения?

Да будет это похвалой вам обоим, столь связанным друг с другом любовью!»

Вслед за этим утешением Мари Броссе станвится выразителем боли, которая только-только начала распространяться. Бо-

ль, Грузии: «Никогда не предавал забвению царевич любовь к отечеству. Стечением обстоятельств ставший изгнанником, отдаленный от Грузии, каждодневно думал он о ее восстановлении, славы своего народа и родной страны. С утра до вечера читал он летописи Грузии и в такой мере изучил ее древнюю историю и словесность, что в нынешнее время среди ученых не найти равного ему. Не довольствуясь только чтением грузинских книг, он собственноручно переписывал их, вносил исправления в чужие сочинения, письменно закреплял свои мысли».

Высоко ценит Мари Броссе простое и, казалось бы, само собою разумеющееся свойство: письменно заносить свои мысли на бумагу. Ему хорошо известно, как необходимы для цельной, непрерывной истории народа даже незначительные, но письменно закрепленные свидетельства. А записанное на бумаге иной раз оказывается долговечнее высеченного в камне. Фиксация истории Грузии страдала и от разрушения памятников, и, увы, порою из-за беспечности ее свидетелей, мало общавшихся с писанным словом.

Как всегда во всеуслышание, Мари Броссе отдает свой долг учителю: «...мне выпало счастье знакомства с царевичем Теймуразом. Вопрошая грузинскую речь и переданные ею повествования и воплощенную в ней словесность, пребывая в иной стране, как уповал я найти столь высокого и образованного помощника и наставника! И ежели успею я и удастся мне как-нибудь продвинуться в изучении Грузии, ежели когда-либо одобрят грузины малый плод прилежания моего, то признаю я громким голосом свидетельствую: этим обязан я учению царевича Теймураза».

В последний раз Мари Броссе обращается к уходящему другу: «Пусть под могильную землю проникнет, царевич, голос любви, преданности и благодарности нашей. Плоть Ваша останется здесь, согласно долгу рода человеческого, душа Ваша вознеслась на небеса для приятия части вековечной радости. Навсегда останутся в нашем сердце образ и поминание Ваше, горе утраты».

Тело царевича предали земле в церкви Феодора Александро-Невской лавры.

Спустя некоторое время вдова царевича приступила к исполнению его завещания. Очевидно из-за стесненного финансового положения — отчего ее действие не становится менее

досадным — Елена Амилахвари не выполнила одного из основных пожеланий супруга: книги и рукописи его богатой коллекции она передала Азиатскому музею Российской Академии наук и Петербургской императорской публичной библиотеке. Много позже лишь часть этого собрания переправили в Грузию.

Возвращаясь в день похорон царевича Теймураза к себе, Мари Броссе ощущал, что в его жизни кончилась важная полоса. Простившись со своим наставником, особенно явственно чувствовал он на своих плечах груз ноши молодой грузиноведческой науки.

И как бы во исполнение молчаливой воли Теймураза Багратиони, Мари Броссе начал готовиться к важнейшему событию своей жизни: встрече с Грузией лицом к лицу.

Продолжение следует

Павел НЕРЛЕР

СВИДАНИЕ С ВЕЛИКИМ ГОРОДОМ

«...Тбилиси — город, кото-
рый неизвестно почему [за-
гадочное шестое чувство!]
вызывает поэтическую омы-
ленность...»

ИЯ МЕСХИ*

«...РАСКАЛЕННЫЕ голые скалы, нависшие над головами, внезапно — прохладный ветер, внезапно — родниковая вода из запотевшего колодца, какая-то бескрайняя неправдоподобная изумрудная долина, мерцающая в разрывах облаков, гранитный крест ермоловских времен, печеная форель на гигантских листьях лопуха, нечастые приземистые харчевни, именуемые духанами, горький дух от прелого прошлогоднего кизила и умопомрачительный аромат из винных бочек. Благоухающие леса и рощи окрест, головокружительный спуск, ослепительно-белые стены фантастического собора на черном холме, омываемом зеленой Арагвой, вереницы длинноухих осликов и мулов под вязанками сучьев, под бочонками и бурдюками, повозки с веселыми людьми... Мцхета, удушливая влажная жара, клубящаяся над долиной Куры, странные мелодии, странная речь, странная жестикация...

И, когда все это осталось позади, перед ними открылся Тифлис!».

* «Литературная Грузия», 1981, № 7, с. 118.

Так описывает Булат Окуджава в своем «Путешествии дилетантов» прибытие князя Мятлева и его возлюбленной к возделенной цели их безнадежного путешествия — к сулящему надежду и спасение Тифлису. Как характерны и как символичны для творческого русского человека сам по себе этот исход и эта надежда! Там, в Грузии, «за стеной Кавказа», помогут, выручат, спасут, там произойдет чудо и все образуется! И вот по этой самой Военно-Грузинской дороге, не без опасности и урона проторенной для русской поэзии Грибоедовым, Пушкиным, Полонским, потянулись сюда почти все крупнейшие поэты нового XX века, поэты новой России.

И — «перед ними открылся Тифлис!» — этот волшебный, лирический остров в эпических просторах и высях Кавказа. И на скрывающей почве Грузии воистину происходили чудеса: Грузия выручала, укрывала, спасала!

Как хорошо, как сочувливо сказала об этом Белла Ахмадулина (с. 104):

**...чтоб отслужить любовь твою,
все будет тщетно или мало...**

Именно Грузии и в большой мере ее столице обязаны русская поэзия и ее читающая аудитория «вторыми рождениями» Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама (тут, правда, не обошлось и без Армении), Бенедикта Лившица, Николая Заболоцкого. Иные чудеса происходили и на расстоянии, минуя прямые физические контакты: вспомним хотя бы блестящие результаты работы над грузинскими переводами Марины Цветаевой...

Именно этим чувством (шестым?) чудесного — чуда встречи и открытия, чуда братства и дружества, чуда творчества и спасения и, наконец, благодарности за чудо — проникнуты лучшие стихи в книге «Свидание с Тбилиси. Стихи русских поэтов» (Составители: М. Синельников, М. Поцхишвили), выпущенной в 1980 году издательством «Мерани».

В книгу вошли стихотворения более 40 поэтов в диапазоне от Пушкина до Ив. Молчанова. О принципах составления мы скажем в конце, а пока лишь заметим, что наряду с замечательными стихотворениями, подлинными жемчужинами русской лирики в нее попали и маловыразительные стихи, исполненные общих — чисто внешних и туристических — мест и впечатлений, роящихся по преимуществу вокруг восклицательной оси «Мтацминда» — «тамада». Поверхностная восторженность, опьяненность — и в переносном, и в прямом смысле — традиционным грузинским радушием — вот признаки этих произведений.

И даже если стихи не слащавы, искренни и не хуже тостов, но все же выдержаны в том ключе, который метафорически можно обозначить «поэтикой тостов» — то этого все равно недостаточно, чтобы — продолжим метафорический ряд — «расплатиться за угощение». Поэтика тоста рассчитана на пир, а не на мир, и при всей своей возможной сердечности она диктуется и «желудком». (Гораздо честнее Пушкин, который, побывав в Грузии, не написал о ней стихов, но взял ее холмы и шум Арагви гениальным фоном для своего лирического чувства: «...Мне грустно и легко; печаль моя светла; печаль моя полна тобою...»).

Нет, не пристало русским поэтам не затруднять себя и своих мускулистых муз тем чувством благородной трудности бытия, с которым непреложно живет (и, между прочим, принимает гостей) каждый народ и каждый отдельный честный человек.

Пожалуй, первым из русских поэтов проникся этим чувством Яков Полонский. Несомненно, тут сказались и то, что поэт не просто гостил в Грузии или путешествовал по ней, а жил в ней довольно долгое время. Он и сам подчеркивал это: «...надо жить в Тифлисе — наблюдать — любить — И ненавидеть, чтоб судить Или дожждаться вдохновений...» (с. 22). Сколько зоркости и заинтересованности, сколько любви к ближнему, сколько социальной совести, наконец, проявил он, описывая Тифлис Левушке Пушкину в своей «Прогулке по Тифлису». И оттого его скромная оценка — «Тифлис оригинальным нахожу» — весит и стоит много больше, чем сотни иных восклицательных знаков, приставленных позднее к имени этого города.

Прекрасные стихи Я. Полонского о Тифлисе, в сущности, — первый в русской поэзии «грузинский цикл». И хотя бы поэтому несколько жаль, что в книгу не вошло еще одно замечательное стихотворение Полонского из этого же цикла — «Сатар»*, написанное в 1851 году.

**Сатар! Сатар! твой плач гортанный —
Рыдающий, глухой, молящий, дикий крик —
Под звуки чиянур и трели барабанной
Мне сердце растерзал и в душу мне проник.**

**Не знаю, что поешь: — я слов не понимаю;
Я с детства к музыке привык совсем иной;**

* Сатар — имя известного в Тифлисе персидского певца (примечание Я. Полонского).

Но ты поешь всю ночь на кровле земляной,
И весь Тифлис молчит — и я тебе внимаю,
Как будто издали, с востока, брат больной,
Через тебя мне шлет упрек иль ропот свой.

Не знаю, что поешь — быть может, песнь Кырама,
Того певца любви, кого сожгла любовь;
Быть может, к мести ты взываешь — кровь за кровь —
Быть может, славить ты кровавый меч Ислама —
Те дни, когда пред ним дрожали тьмы рабов...
Не знаю, — слышу вопль — и мне не нужно слов!

Яков Полонский положил начало традиции бессюжетных прогулок — традиции, в которой написаны лучшие из стихов о Тбилиси. Так, «Отражения» Сергея Спасского прямо продолжают «Прогулку по Тифлису» Полонского, даже маршрут почти совпадает, только время, разумеется, другое («Еще не отпечатана газета Со сводкой первой мировой войны» — с. 82). Запыхавшийся Пастернак, наоборот, забывает свою прогулку, пораженный видом, внезапно открывшимся ему с крутосклона (с. 58):

...Мельтеша, точно чернь на эфесе,
В глубине шевелился Тифлис.

...Будто вечер, как встарь, его вывел
На равнину под персов обстрел,
Он малиною кровель червивел
И, как древнее войско, пестрел.

Мандельштам, напротив, смотрит на горбатый Тифлис снизу вверх: «...На мосту народ толпится, Вся ковровая столица, А внизу Кура шумит» — вот оно, то самое мельтешенье черни на эфесе. Мандельштам и сам частичка этого мельтешенья, недаром башмаки его сношены и подметки величазо истерты!

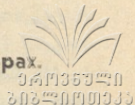
В стихах о Тбилиси явственно просматривается и другая традиция, которая связана с именем Сергея Есенина. Его стихотворение «Поэтам Грузии» — неподдельный гимн тому высокому братству Поэтов, которым дышал Пушкин и о котором только вздыхал Блок, но которое — и это поистине подвиг! — сумела возродить славная плеяда голубороговцев:

Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,

Хороший, добрый час!
Товарищи по чувствам,
По перу,

Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,

Как шумную Куру,
Люблю в пирах и разговорах.



Разделение на традиции Полонского и Есенина — при всей их различности — все-таки условно. Граница между ними есть, но нет противоречия. Многие, очень многие поэты отдали дань обоим: Тихонов, Заболоцкий, Антокольский, Вл. Державин, тот же Пастернак. Среди них и Бенедикт Лившиц — поэт, до сих пор еще по-настоящему не оцененный. Его «Картвельские оды» — самые поздние и, быть может, самые лучшие его стихи* — полны ни у кого более не встречавшимся сочетанием трепета, торжественности и полной открытости, распахнутости навстречу тому, что несет в себе и с собой Грузия:

Я еще не хочу приближаться к тебе, Тбилиси,
только имя твое я хочу повторять вдалеке,
как влюбленный чужак, рукоплещущий бурно актрисе,
избегает кулис и храбрится лишь в темном райке...

А вот — есенинский «жест» в его руках: «Это голос самих ущелий, Где за пазухой нет ножа: «Руку Пушкину, Руставели!», «Руку Лермонтову, Важа!» (с. 52).

Но вот что важнее всего (и здесь смыкаются обе традиции):

...Мы не пьянство, однако, славим,
Предводимые тамадой,
Мы скорее стаканы отставим
Иль смешаем вино с водой,

Чем забудем о том, что рядом,
Только выйти к подножью гор,
Отрезвляет единым взглядом
Полновесная жизнь в упор.

«Полновесная жизнь в упор!» — какие точные и нужные слова.

Вот этого самого полновесного чувства — чувства жизни в упор — как раз и недостает многим поэтам, писавшим о Тбилиси в послевоенное время.

* Б. Лившиц был в сущности единственным из русских переводчиков, кто всерьез засел за изучение грузинского языка. Эта тяга, несомненно, также есть вещий знак, о многом свидетельствующий.

Своею приверженностью лучшим традициям отличаются стихи А. Тарковского, Б. Окуджавы, А. Цыбулевского, В. Леонovichа и М. Синельникова, а также Е. Евтушенко и Б. Ахмадулиной. Из них непосредственно к Тбилиси в наибольшей степени обращены стихи Синельникова и Цыбулевского, и их было бы интересно сопоставить. Если у Синельникова мы видим и слышим упругую энергию ритма, чеканящего строки и строфы:

Плавно-покатый, румяно гранатовый,
Вогнутый город с горой на груди,
Далью оглядывай, небом окатывай,
По затонувшим мостам проведи! —

то интонация Цыбулевского — более расслабленна, буднична и разговорна — более домашняя, что ли (и это не случайно: Цыбулевский — единственный из представленных в книге поэтов житель, а не гость Тбилиси):

...А чмокающий звук — не так уж прост:
Узорчата балконная решетка,
Со дна Куры встает Ишачий мост...
Куда же ты, куда же ты, пролетка!

У обоих поэтов ощущима тоска по уходящему, на их глазах улетающему духу (и плоти!) старого Тифлиса, но если у москвича Синельникова достало твердости сказать: «...Пляшет свадьба, щебечет шарманка, Сердцу больно, но сердца не жаль», то Цыбулевскому, автору книги «Владелец шарманки», наполовину посвященной Тбилиси, нестерпимо жаль своего любящего сердца. Вот очень характерное для него стихотворение «Кинто» (с. 145):

И голова кинто среди булыжин —
Бритоголовых полчищ мостовой.
И звук шарманки влажный, гулевой
Собою упоен или пристыжен.
Застигнуто последнее мгновенье
В глазах открытой мертвой головы.
Шарманки равномерное круженье,
Сквозная тень колеблемой листвы.

Г. Маргвелашвили в одной из своих статей сформулировал, как мне кажется, очень важную и справедливую мысль: «...Если еще три-четыре десятилетия назад в большинстве русских стихов о Грузии, за малым, хоть и великим по значению исключением, преобладали интонация, настроения, видение, образность

и стилистика, связанные с первым знакомством, неожиданной радостью открытия, удивлением и восторгом, не без признаков любования экзотикой, то дальнейший процесс развития жизни и литературы, ее выражающей, привел, особенно в последнее время, к известному внутреннему, даже психологическому сдвигу в этом отношении. Все меньше стало, фигурально говоря, восклицательных и вопросительных знаков, все больше уверенных точек и раздумчивых многоточий. Двоеточия же стали открывать за собою тонкости и нюансы, глубины и просторы, раньше лишь единицам доступные. Да, если хотите, взаимоближение и взаимовлияние культур достигло в динамике своей нового качественного состояния. ...Это уже не просто встреча культур. Это — естественное, свободное продолжение давнишнего диалога культур, диалога, который способствует не только взаимопознанию, но и самопознанию каждого из собеседников («Литературная Грузия», 1981, № 8, с. 26). Думаю, что именно на упомянутых мною выше поэтов (и, вероятно, на некоторых из неупомянутых, не представленных в антологии) и ориентировался известный грузинский критик, обобщая свои многолетние наблюдения над русскими поэтами и поэзией в их взаимодействии с грузинской средой. И новая антология в целом подтверждает справедливость его суждения.

...И все-таки принцип составления антологии ясен не вполне. К чему стремились составители? Если к исчерпывающей полноте, то тут недостает не то что отдельных стихов — имен! Если же предполагалось издать сборник одних только шедевров — то тут, напротив, немало лишнего. В таком случае в книге не должно было найтись места для «такого особенно хорошего» вечера над Курой из стихотворения Ивана Молчанова «Грузинке»: «Но пой, родная, громче пой, Чтоб раздавалось эхо громом! Ты слышишь: я пою с тобой На языке, на незнакомом!» (с. 55).

Вряд ли к числу шедевров можно отнести и следующие строки Майи Борисовой (с. 105):

А я вины своей еще не знаю.

Хотя вины во мне, как яд в вине.

И дерева, грядущие от зноя, (!?—П. Н.)

Не знаю, почему приснились мне.

Впрочем, в дурном вкусе отдельных стихов есть своя историко-литературная поучительность. Забавно видеть, как акмеиста и футуриста объединяют явно неудачные, режущие слух неоло-

гизмы: «всем, кто одиночит» (С. Городецкий — с. 46) и — «стихи под перепень зурны» и «дни утрозарности» (В. Каменский — с. 47 и 48).



Что же касается критерия полноты отбора, то любопытно сравнить «Свидание с Тбилиси» с его прямой предшественницей — антологией «Тбилиси в поэзии», выпущенной в 1958 г. к 1500-летию Тбилиси издательством «Заря Востока» под редакцией Симона Чиковани. В отличие от «Свидания с Тбилиси» в ту книгу входили и русские, и грузинские (в переводах) стихи, но последних, разумеется, мы касаться не будем.

Сличим оглавления. Более половины авторов «Свидания с Тбилиси» в антологии «Тбилиси в поэзии» нет, что в большинстве случаев объяснимо тем, что в канун 1500-летия Тбилиси они еще не достигли достаточной поэтической известности или просто не написали своих стихов о Тбилиси (а некоторые авторы «Свидания...», вероятно, еще и не кончили среднюю школу!). В заслугу составителям «Свидания с Тбилиси» стоит вменить прежде всего то, что они в данном темой контексте ввели в читательский сборник Мандельштама и Бальмонта, а также Кочеткова, Луконина и Смелякова, а кроме того заметно расширили подборки Полонского, Лившица, Есенина и Каменского. Однако 14 поэтов, напечатанных в «Тбилиси в поэзии», нет в «Свидании с Тбилиси»; если из их числа исключить тех, чьи стихи имеют лишь самое косвенное и неопределенное отношение к Тбилиси, то получим следующий список: Ю. Верховский, К. Арсенева, Р. Иванев, Г. Крейтман, В. Орлов. Пополним этот ряд именами Л. Озерова, В. Полетаева, А. Кушнера и получим перечень поэтов, об отсутствии стихов которых в антологии можно сказать очень коротко: жаль!

Как жаль и того, что в «Свидание» не вошли пушкинские «Отрывки из путешествия Онегина» и уже упоминавшийся выше «Сатар» Я. Полонского, а также стихотворение «Тифлис» и цикл «Что это? Только осколки...» Сергея Спасского. Вместо напечатанного в «Свидании» стихотворения Надсона «В тот тихий час...», кажется, стоило бы поместить тематически более уместное и вообще явно более примечательное стихотворение «Да, хороши они, кавказские вершины...», написанное в июне 1880 г. в Тифлисе. Чтобы не показаться голословным, приведу его целиком:

Да, хороши они, кавказские вершины,
В тот тихий час, когда слабеющим лучом
Заря чуть золотит их гордые седины,
И ночь склоняется к ним девственным челом.
Как жрицы вещи, объятые молчаньем,

Оне стоят в своем раздумьи вековым;
А там, внизу, сады кадят благоуханьем
Пред их незаблемым, гранитным алтарем;
Там — дерзкий гул толпы, объятай суетою,
Водоворот борьбы, страданий и страстей, —
И звуки музыки над шумною Курою,
И цепи длинные мерцающих огней!..

Но нет в их красоте знакомого простора:
Куда ни оглянись — везде стена хребтв. —
А просится душа опять в затишье бора,
Опять в немую даль синеющих лугов;
Туда, где так грустна родная мне картина,
Где ветви бледных ив склонились над прудом,
Где к гибкому плетню приникнула рябина,
Где утро обдаёт осенним холодком...
И часто предо мной встают под небом Юга,
В венце страдальческой и кроткой красоты,
Родного Севера — покинутого друга —
Больные, грустные, но милые черты.

Еще два текстологических замечания: в издание вкралась две ошибки, которых можно было и лучше было избежать. Речь идет, во-первых, о четвертой строфе стихотворения Б. Лившица «16 октября 1935 г.» (с. 53) (кстати, почему здесь не выделены строфы?), посвященного переносу праха Важа Пшавела из Диду-бе на Мтацминду:

...Что в ту ночь предстало пшаву!
Что ты видел, темень бередя!
Города ль недремлющего славу
В ливне очистительном дождя!

Последняя строчка читается так: «Или приближение вождя?». Искажение было внесено при подготовке отдельного издания «Картвельских од» (Тбилиси, 1967)*.

Точно так же не следовало пропускать в стихотворении А. Цыбулевского «Балконы осенью» слово «довоенный» (последняя

* Ср. с прижизненной публикацией: «Звезда», 1936, № 5, с. 12. См. также: И. Богомолв. Важа Пшавела и русская действительность. Тбилиси, «Мерани», 1980, с. 152.

строка 3-й части — см. стр. 146 «Свидания с Тбилиси»). Следует читать: «Как в песенке. И очередь стояла — Давали довоенный керосин». Неужели ни составители, ни редакторы не смутятся ничем не объяснимым сбоем ритма в этом месте?

Оговорюсь, что все эти замечания я делаю не для того, чтобы упрекнуть уважаемых составителей, а лишь для того, чтобы облегчить работу тех, кому доведется готовить следующее издание такого рода. А такое вполне актуально уже сейчас, поскольку антология, изданная быстро, но тиражом непомерно малым — всего 3000 экземпляров! — явно не удовлетворила читательский спрос.

Видимо, для переиздания небесполезно будет просмотреть и те стихи о Тбилиси, которые были опубликованы после выхода в свет «Свидания с Тбилиси», в том числе и в «Литературной Грузии». А кроме того — еще одно предположение, точнее, предложение.

Что если не ограничиваться поэзией, а собрать под один переплет еще и прозаические описания Тбилиси, начав их с пушкинского «Путешествия в Арзрум»? Думаю, это сделало бы «Свидание с Тбилиси» более объемным и запоминающимся. Этот разговор я начал прозаическим отрывком Булата Окуджавы о Тбилиси. На память приходят и другие имена: Андрей Белый, Константин Симонов, Андрей Битов, Александр Цыбулевский...

Начав эту небольшую статью отрывком из прозы, прозой же и закончу, подключив к разговору Андрея Битова:

«Вот город! Он большой и маленький. В этом едва ли не главная его прелесть...

И за углом этот город напоминает дерево, гнездо, улей, виноградник, этажерку, стену, увитую плющом. Он напоминает один разросшийся этажами, флигельками, надстройками и галереями дом, как каждый его дом — по-своему город. Каждая веточка его неоконченна в том же смысле, как и живая ветвь, которая имеет почку, которая растет...»

В РАЗНЫЕ годы Василий Каменский написал множество автобиографий. В одной из них, сохранившейся в фондах Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ) и датированной 1925 годом, он пишет: «1920. Жил с Н. Н. Евреиновым в Сухуме, где написал пьесу «Паровозная обедня», которая шла в Саратове и Баку в рабочих театрах».

Впервые о посещении В. Каменским Абхазии рассказал в содержательной статье доктор филологических наук Х. С. Бражба¹ («Этюды и исследования». Сухуми, 1974), который завершал свое исследование с надеждой, что «в рукописном архиве поэта будут обнаружены неопубликованные до сих пор новые поэтические произведения о «Стране души».

¹ Интересные сведения о В. Каменском приведены в монографии члена-корреспондента АН Грузинской ССР Г. А. Дзидзария «Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции» (1979), некоторые данные содержатся в работе кандидата исторических наук В. П. Пачулиа «Русские писатели в Абхазии» (1980).

Станислав ЛАКОБА

«КРЫЛИЛИСЬ ДНИ В СУХУМ-КАЛЕ...»

О ПРЕБЫВАНИИ
ВАСИЛИЯ
КАМЕНСКОГО
В АБХАЗИИ

И вот недавно в ЦГАЛИ мною была найдена богатая коллекция рукописей, газет, афиш, связанных с пребыванием Каменского в нашем крае. Новые материалы — неопубликованные произведения писателя — и составляют, в основном, ядро предлагаемой статьи.

Судя по документам архива, поэт впервые побывал в Абхазии весной 1920 года. Так, местная газета «Наше слово» сообщала, что 16 марта в сухумском театре Алоизи состоится «единственная весенняя гастроль — знаменитый поэт, главарь футуристов Василий Каменский в один вечер прочтет 2 лекции: 1. Как надо жить в Сухуме (солнечные экспрессы жизнетворчества), 2. Что такое футуризм (поэзия, музыка, театр, живопись)».

К этому выступлению даже был издан номер газеты, которая так и называлась — «Однодневная газета Василия Каменского». Она вышла под девизом «Искусство спасет мир» и вся посвящалась поэту. Как и во всех газетах, в ней была представлена передовая статья, в которой говорилось: «Справедливо принято думать, что самое скучное на свете — это передовая статья любой газеты, обычно похожая на слегка поскрипывающую деревянную ногу изящной молодой дамы.

Черт с ней — с этой деревянной ногой...

Пусть солнцeveющая воля каждого из нас окрылит наши измызганные в борьбе души до сотворческого отдыха на пляже новой жизни...»

Здесь же Каменский поместил только что написанное им в Сухуми стихотворение «Тост» и отрывок из словотворческой поэмы «Цувамма». А режиссер и теоретик сценического искусства Н. Н. Евреинов восторженно писал:

«Василий Каменский! Я не знаю другого поэта, от которого так разило бы юностью с ее улыбками, хохотом, прыжками, непосредственным подходом к труднейшим проблемам жизни... Быть Василием Каменским, это значит быть мудрецом, разгадавшим непосильную для смертных загадку...»

Не уступал Николаю Николаевичу и редактор журнала «Искусство» Борис Корнеев:

«Василий Каменский... Среди русских поэтов, великих и прославленных, еще никто не сумел так осмыслить, так использовать час своего рождения, как он, понявший стихию морей, просторы степей и символ силы, пробудившейся на легендарных берегах, утесах матушки Волги...

Радостный и бубенцовый, как восходящее солнце, спе-

шит он из города в город поведать людям простую и забытую правду, спешит их научить жить мудро и красиво...

И вот поэт в Сухуме, и мы видим, что сейчас выступление Каменского желанно и что найдутся **молодые души**, которые восторженно встретят поэта здесь, у берегов Черного моря, и поймут его светлый, экстазный призыв к радостям жизни и творческим взмахам».

В лучших традициях футуризма В. Каменский разлил свой остроумный юмор в разделе «Хроника». Вот некоторые из его «Напоминаний» перед выступлением:

«Н. Н. Евреинов — этот великий гость будет на лекции Василия Каменского в ложе № 10.

Редакция «Наше слово — нежно встретившая Поэта, не покалечит чернильных ладош для звучальных приветов.

Правление «Сао — намерено всерьез прослушать декреты поэта Каменского с Парохода Современности.

Подношения и делегации — желательны, но не обязательны.

Присутствуют на вечере 16-го марта: бирюзовая бодность, морская даль, вольность, здоровый дух, сотворческая радость, трепетное желание талантливо жить в Сухуме и вообще и др. и др.

Несколько кораблей — будут сидеть важно на балконе...»

Спустя неделю после этого сенсационного выступления поэта в городе состоялся торжественный вечер, посвященный «Поэзии и театру». На нем выступили Н. Н. Евреинов с лекцией «Театр будущего (от кинемо до радиотеатра)» и В. В. Каменский с новыми стихами и чтением «Степана Разина».

В Сухуми в это время работала замечательная плеяда известнейших деятелей литературы и искусства, успешно действовали «Художественное содружество» и «Сухумское артистическое общество» (САО), в которые входили художник А. Шервашидзе-Чачба, актриса Н. Бутковская, поэты-земляки В. Каменский и В. Стражев, режиссер Н. Евреинов... Они хорошо были знакомы еще задолго до встречи в Сухуми. Так, в 1915 году В. Каменский получил заказ от Н. Бутковской написать «Книгу о Евреинове». Поэт поехал в Куоквалу, где встретился с известным режиссером. Осенью то-

го же года в Финляндии Велимир Хлебников записал в свой дневник: «А Евреинов! Вы помните, его писал Бобышев — гладкие средневековые волосы, его знаменитый же-вянный ворон и байеньки Каменского в исполнении Толстой Блиновой — дикарки с очень теплым, пушистым взглядом». Спустя два года в петроградском издательстве Н. Бутковской «Современное искусство» книга Каменского вышла в свет. Тогда же, в 1917 году, Н. Евреинов писал В. Каменскому в Тбилиси: «Книга Ваша печатается. Обложка князя Шервашидзе». К этому времени Николая Николаевича знал уже весь культурный мир России и Европы, он был автором нашумевших изданий, потрясших традиционные представления о сценическом искусстве, — «Нагота на сцене» (1911), «Театр, как таковой» (1913), «Театр для себя» (1916). Василий Каменский написал, можно сказать, не столько исследование, сколько поэтическую книгу о Евреинове как драматурге, композиторе, режиссере, художнике, ученом, философе... «Истинный Робинзон театра и Колумб сегодняшнего «Театра для себя», — писал поэт, — король режиссеров. мудрый арлекин — любимец толпы, Н. Евреинов, зычной трубой созвавший нас на представление жизни и подаривший нам новое мерило ценности жизни...» Вся книга выдержана в таком возвышенном тоне.

В своих воспоминаниях «Н. Н. Евреинов в современном мировом театре XX века» (Париж, 1964) Анна Кашина-Евреинова, говоря о странствиях (1917—1920) по России своего супруга, упоминает, что он останавливался «в Сухуме и Тифлисе», где «читал лекции, ставил спектакли из одноактных сцен». В сухумской газете «Наше слово» помещено множество заметок о деятельности режиссера в Абхазии, где он с 1919 по 1920 год читал курс лекций из цикла «Философия театра и теория сценического искусства». С большим успехом в мае 1919 года в театре Алоизи прошел спектакль Мозьмы Пруткова, поставленный и оформленный Н. Евреиновым, В. Стражевым, А. Шервашидзе-Чачба и Н. Бутковской... А весной 1920 года к великолепной четверке присоединился Василий Каменский. 7 апреля по всему Сухуми было расклеено броское объявление: «Приходите в гости ко мне в театр и Я поэт Василий Каменский в ярких

¹ Каменский познакомился с Евреиновым и Хлебниковым в 1908 г. Тогда же он помог Хлебникову опубликовать первое произведение «Искушение грешника».

и волнующе-острых красках расскажу вам истинные впечатления как живут и работают Мастера Искусства (мои личные с ними встречи, приключения, переживания, творческая работа, веселый отдых). В великом хороводе знаменитых личностей перед вами промелькнет живая панорама расцветающего искусства и вы узнаете о жизни в домашнем семейном кругу ваших учителей и любимых творцов. Это будут Мастера: Репин, Шалапин, Горький, Станиславский, Куприн, Андреев, Скрябин, Качалов, Рахманинов, Дункан, Евреинов, Маяковский, Д. Бурлюк, Прокофьев, Мейерхольд, Комиссаржевская, Блок, Северянин, Маринетти и др.»

Необычность выступлений Каменского и Евреинова — «бунтарей искусства» потрясла Сухуми. Чтобы предотвратить недоразумения, поэт-символист Виктор Стражев, друг выступавших и в то же время противник в эстетическом смысле, расклеил в городе свою афишу: «В Сухуме прошел целый ряд их выступлений! О них говорят, говорят, говорят: судят вкривь и вкось. Ввиду исключительного брожения умов, а также в предупреждение острых эстетических заблуждений совершенно необходимо, чтобы 11 мая... в театре Алоизи... состоялась лекция В. И. Стражева «Кто они?» Очевидно каждому, что речь будет о них — Н. Н. Евреинове и В. В. Каменском. Наконец-то, первый раз в Европе и Азии будет сказано о них беспристрастное слово...»

Через три дня после выступления Стражева газета «Наше слово» (14 мая 1920, № 103) опубликовала тезисы его лекции. Символист назвал Евреинова одним «из последних рыцарей отживающего индивидуализма, не приемлющего жизнь». Стражев не признавал один из основных лозунгов его системы: «Надо жизнь не жить, а играть. Нужно призвать великих режиссеров, которые набросят на жизнь великолепные одежды, превратят ее в карнавал, в фейерверк, в великую весну...»

О своем земляке Каменском В. Стражев отзывался несколько свысока, отмечая, что в нем есть «нечто от корявого парня, наивного, как узор ситца, и ярко-радостного, как кумач». Стражев говорит, что Каменский — «это нечто совсем другое», нежели Евреинов; что его «детство» напоминает «экцессы юных литературных течений новейшего периода». Но в них «не всегда можно различить, где кончается Ка-

менский — антрепренер, рекламист, «американец», циркач
и где начинается поэт Василий Каменский...».

А Каменский писал тем временем большое стихотворение «Сухум (посв. Н. Н. Евреинову)». Рукопись его хранится в архиве литературы и искусства.

Я и Евреинов
Без раздумий
Живем в Генуэзском переулке:
В Сухуме.

Оба — друзья наобум —
Любим Сухум
Эльбрусно.

Форма стихов свободна, непосредственна. В них много словотворческого экспериментаторства. Живописные декорации и колорит города — белые корабли на рейде, «дезгинка и ту-стэй», сухумский табак, цирк и турецкие кофейни, каленые орехи на набережной — все привлекает внимание поэта.

Издалека доносятся песни
Востока.
Это абхазцы поют
В духане,
Припав у истока.

И я слышу в их песнях
Шум моря и ветра,
Шорох листьев и крыльев
В вершинных небесах...

И здесь же легенда об абхазском Прометее-Абрскиле:

...Есть у старых людей
Золотое предание,
Будто здесь был прикован
Огневой Прометей
На скалистую гору-ладонь,
На сграданье...

И с тех пор тот огонь
Потушить никому не удастся.
Он горит,

Как несущийся вальс,
Он горит
В каждом сердце абхазца.



Поэт вспоминает древнюю Диоскурию, погребенную волнами, бродит по прибрежным холмам, но внезапно наплывает темнота. И на ее фоне рождаются лирический юмор, доброта, искренность, простота:

В ночной тишине
Голос жуток и гулок.
Скоро дом —
Наш уютик,
Генуэзский глухой переулоч.

Чу! Встречает меня
Лаем дружеским Бутик.
Полон всяческих дум
(Наблюденья, проекты, заветы)
Засыпаю,
И со мной засыпает Сухум,
Читая газеты.

А рано утром слышу,
Кто-то мне принес
Букет пунцовых роз
И бросил
На серебряную крышу...
Кто?
Вопрос...

На одно только негодовал поэт, проколотый «солнечной струей»:

И только лишь с московской дурью
Не может справиться весна...

Писал не только Каменский. Прекрасный дружеский шарж в стихах (1920) о двух «бунтарях» оставил Виктор Стражев.

Поэт упоминает, как Василий Каменский — «Зевс Сатурнович» выступал с гармошкой в доме Алоизи, в кинематографе и «в цилиндре, на коне, на цирковой арене Сухума». Но в завершение этой песни у Стражева «лопнуло не-

Станислав Лакоба. «Крылились дни в Сухум-Кале...»

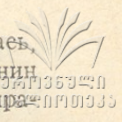
сколько струн — или от тоски по Каменскому, или от «рез-
мерного напряжения» его вдохновения.

...Шла гражданская война. В Абхазии хозяйничали меньшевики. Об этом тяжелом периоде писатель и драматург Самсон Чанба вспоминал: «...Однажды в маленькой типографии Зайдшера, где мы печатали первую абхазскую газету «Апсны», состоялась встреча поэта В. Каменского с группой редакционных работников газеты. В то время меньшевики распространяли всякого рода небылицы, чтобы ослабить популярность большевиков среди народных масс. В. Каменский рассказывал нам правду о Советской России... За это он оказался в немилости у меньшевистских властей, его стали преследовать, и он вынужден был покинуть Абхазию».

Но перед отъездом в Москву поэт не побоялся выступить 9 и 14 июня 1920 года в театре Алоизи с чтением «Стеньки Разина». А газета «Наше слово» даже сообщала, что «Василий Каменский полностью прочтет свою знаменитую пьесу, приобретенную советским правительством и непрерывно ныне идущую во всех театрах».

В самом начале я упомянул о том, что Каменский написал в предреволюционной Абхазии «Паровозную обедню». Тогда же здесь появилась рецензия на пьесу («Наше слово», 29 июня 1920, № 139). «В этом произведении, — говорилось в ней, — весьма интересном по замыслу, есть очень много характерного для современного поэтического творчества. В бурю искусство становится пророческим... Пьеса В. Каменского — гимн-символ, восторженное песнопение во имя социализма. Он избирает эмблемой грядущего паровоз... Паровоз — могучий и покорный, мощный и нервный, как конь, мчащийся по стальным иглам рельс — вот великий вестник современности!». Это была политическая пьеса в стихах, напоминающая поэзию агитационных плакатов с новыми понятиями: «социальное строительство», «коллективизм» и другими.

О Каменском первых лет революции и становления Советской власти А. В. Луначарский писал: «Самая ценная служба поэта Октябрю была именно поэтическая служба. Он чрезвычайно много выступал на широких народных собраниях и украшал их своим узорным, летучим, звенящим словом. Он написал первую производственную пьесу — «Паровозную обедню», он написал первую революционно-историческую пьесу — «Разин». Его сразу и сильно полюбили. Он стал изве-



стен и Владимиру Ильичу, которому его поэзия нравилась, хотя, как известно, вообще к «гражданам бюджетянам» Ленин относился критически, и даже у самого Маяковского ему нравилось немного».

В июле 1920 года Евреинов и Каменский покинули Абхазию. Перед отъездом они подарили Виктору Стражеву две фотографии — на одной из них Каменский и Евреинов вместе, на другой индивидуальный снимок и надпись на обороте: «Дорогому Виктору Ивановичу Стражеву в знак любви к нему лично и к его таланту. Сухум 11/VII 920. Н. Евреинов».

Во второй раз Василий Каменский прибыл в Сухуми весной 1922 года. За два года многое изменилось — Абхазия стала советской республикой. 10 марта Евреинов писал Каменскому: «В Сухум поеду осенью через границу... Обнимаю Вас сухумски-горячо...» А 14 июля того же года он сообщил печальную для друга новость: «Дорогой мой, ненаглядный Васинька... Умер В. Хлебников... Паралич ног и мочевого пузыря. Хворал 1 месяц. Боже, до чего же его жаль! — ты знаешь».

В этот же период Василий Каменский написал два стихотворения — «Жонглер» и «Прибой в Сухуме», построенные на основе звукописи, внутренней энергии слова и словотворчества. Их отличает легкость и музыкальность.

Диск. Блеск. Воск. Гуск.

Цамми.

Сень. Синь. Сан. Сон.

Небесон. Чудесон.

Словолей соловей аловей.

(«Жонглер»)

Стихотворение «Прибой в Сухуме» Каменский посвятил Н. Евреннову:

...Берег — дом в Генуэзском.

Море — воздух — вино.

Будто память о детском.

Здесь живет Евреннов.

Пой в прибой,

Прибивай мудрокнижием.

Удивляй сценоближием.

В 1923 году эти стихи В. В. Маяковский поместил в журнале «Лэф» (№ 1).

18 апреля 1922 года в Сухумском цирке ^{16.03.53.90} ⁸¹²⁻¹¹¹¹³³ состоялись два представления — днем грандиозный детский праздник с бесплатным катанием на лошадях, в котором участвовали «все клоуны, рыжие, комики, наездники и японцы», а вечером по просьбе дирекции цирка выступил, как говорилось в афише, «гордость, краса и корифей русских футуристов **Василий Каменский**», организовавший аллегорическое шествие с участием «людей, зверей, животных и птиц». Часть от этого сбора поступила в пользу сухумской больничной кассы профсоюзов города.

5 февраля 1923 года Николай Евреинов сообщал в Москву Каменскому: «Я уже 2 недели как из Парижа. Почему ты не поехал с нами? Определенно и безоговорочно в начале апреля едем в Сухум. Итак, снова вместе!!! Уррррра!.. Я по тебе как собака соскучился...»

В апреле того же года вместе с Каменским в Сухуми снова приехал Евреинов. А спустя некоторое время, 28 мая, в 1-м гостеатре состоялся вечер секции работников печати. На нем выступили Н. Евреинов с лекцией «Вот что делается в Париже» и В. Каменский — «Вот что делается в Москве». Ко дню печати газета «Голос трудовой Абхазии» опубликовала стихотворение поэта «Именины буквы».

В мае же группа сухумских артистов взялась за постановку пьесы Каменского «Гений случая», причем сбор от спектакля предполагалось передать в фонд создания Красного воздушного флота...

Поэт приезжал в Абхазию, как правило, весной. В последних числах февраля 1927 года он вновь прибыл в Сухуми на пароходе «Ленин». Лучи солнца сливались с желтыми ветвями мимоз — вестниками весны, а скрип крестьянских возов будил город. По его улицам в экипаже летел поэт и «видел» во всем стихи:

**В мягкой поступи буйволов сонных,
В тихом скрипе абхазской арбы,
Будто слышится песнь перезвонно
Отдаленной пастушьею трубы.**

Свой гимн Каменский так и назвал — «Привет Сухуму!» Сколько счастья, искренней радости в этих на первый взгляд неумелых строчках, за которыми стоит большой мастер сти-

жа, смелый экспериментатор; сколько легкости и юмора в их интонации:

Ну, здравствуй, рай земной, —
В Сухуме снова я.
И здесь весна со мной,
Как жизнь призывно новая.

В местной газете Каменский поместил ряд интересных рецензий на спектакли, шедшие в городе, опубликовал юмористический рассказ из абхазской жизни «Корова улетела». На сцене сухумского городского театра шли его пьесы. В марте с успехом прошла комедия «Женитьба совработника». После этого спектакля поэт прочитал новые стихи и рассказ «Американское счастье». В апреле здесь же в постановке тифлисского рабочего театра шла пьеса Каменского «Пушкин и Дантес». 25 апреля перед началом спектакля выступил автор.

Весной Василий Каменский сильно увлекся сухумской актрисой Ю. М. Даминской, выступавшей в театре сатиры и интермедии: 21 мая Каменский поместил в газете «Советская Абхазия» рецензию на открытие театра, которая, видимо, служила определенным целям поэта, но из затеи ничего не вышло... В Сухуми объявился режиссер Н. Фореггер, который женился на Даминской и увез ее.

Но Василий Каменский не унывал. «В устье реки Беслетки, — вспоминает сухумский старожил М. Д. Хахмигери, — собралось не менее 20 парусников. Все они были разукрашены, расписаны красками. Вечерело. Набережную заполнял народ. Василий Каменский — «главный режиссер» готовящегося представления достал в сухумском театре какие-то костюмы и вырядил в них своих людей. Они инсценировали отчаянную ватагу Стеньки Разина. Вооруженные саблями, ножами, с факелами в руках, на разноцветных лодках-остругах они медленно выплывали из устья реки в море. Это было яркое, запоминающееся театрализованное представление, неожиданное для всех. Во главе ватаги на первом паруснике плыл Каменский во всей красе одежд Стеньки Разина. Вечер наполнился звуками, светом факелов. А из глубины вечернего моря чьи-то голоса пели русскую народную песню о славном атамане:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны



В этой связи мне хочется напомнить меткую характеристику, данную Каменскому А. В. Луначарским: «Хотя им написано и опубликовано немало книг, но в сущности он совсем не поэт-литератор: он вовсе не такой человек, который сидит у себя за столом, кусает кончик пера или копается его острием в чернильнице... Нет, Каменский творит большей частью с гармошкой в руках и напевая... Василий Каменский — поэт из породы мейстерзингеров, на манер французских недавних шансонье» (газета «Известия», 26 марта 1933, № 81).

Как и у «Председателя Земного Шара» Хлебникова, у Каменского много словотворческих произведений. Звукоподражательные стихи вели к разрушению привычного и созданию нового поэтического — «самовитого языка». Так, один из сборников Каменского — «Звучаль веснеянки» (1918) содержит звукописные стихи «Циа-цинть», «Чурлю-журль»... Эксперименты поэта послужили поводом к написанию пародии на его стихи Виктором Стражевым. 14 августа 1927 года она была напечатана в «Советской Абхазии».

«Воспользовавшись временным отсутствием в Сухуме известного поэта Василия Каменского, — писал Стражев, — мы не совсем благовидным приемом добыли из незапертого письменного его стола ненапечатанное еще его стихотворение, посвященное Сухуму. Принося поэту наше извинение, льстим себя надеждой, что гнев обворованного поэта не будет продолжительным.

Звения, звенит звенящая звенянка —
Сухумится Сухумка сквозь Сухум,
И облачко, небесная портянка,
Сушась на солнце, мчитя наобум.

Я гол, как кол. Воткнувши ноги в гравий,
Торчу на пляже. Гей. Га-га! Го-го!
И руку жму моей вселенской славе,
Причаливши к Сухуму на «Арго».
А вечером, на даче, на Чернявке,
Здравши ноги строю стихозвонь
И —

дреннь! —

наяриваю на тальянке...

Э... эх! Ты! Каменского гармонь!
Мне ночью снится мой ядреный лапоть,
Прославленный от Крыма до Перми.
Ух! Поживем еще! Не будет капать
Над нами старость, черт возьми!
В Сухуме жить и молодо и жарко!
Стихов еще напишем сто томов!
Чок! Чок! Мы чокнемся еще веселой чаркой
С бессмертьем сорока веков!



Исполнилось семь лет со дня победы Советской власти в Абхазии. 4 марта 1928 года Василий Каменский поместил в газете стихотворение «Завоеванное счастье»:

Цветет, растет Страна Души
Весной Советовластья
И никому не потушить
Раз завоеванного счастья!

Трудящихся стальная мысль
Слилась сегодня в праздник, —
Абхазия стремится ввысь!
Абхазия грядущим дразнит!

Грамота! Строительство! Культура!
К социализму перекинут мост.
Горячая абхазская натура
Сумеет показать свой рост!

Кульминационным моментом пребывания поэта в крае можно считать 1933 год. В июне он приехал в Сухуми. Только что страна отметила 25-летний юбилей его творчества. Не осталась в стороне и Абхазия, куда он приехал из Тбилиси. Газета сообщала: «Советские писатели Абхазии организуют 5 июня вечер Василия Каменского в гостеатре, приветствуя у себя «инстинктивного бунтаря», «жизнерадостного энтузиаста» и «славного певца революции». Поэта торжественно встречали партийные и государственные деятели, представители общественности республики — Нестор Лакоба, Самсон Чанба, Андрей Чочуа... Газета «Советский писатель Абхазии» отмечала, что Каменский «в данное время работает над поэмой «Ткварчели». С этой целью он едет в Ткварчели, чтобы ознакомиться с крупной абхазской новостройкой».

До сегодняшнего дня произведение это было неизвестно исследователям. В ЦГАЛИ сохранилась рукопись, которая называлась сначала «Ткварчельская поэма» и «Поэма о Ткварчели». Но оба названия перечеркнуты Каменским. В конце концов он назвал поэму «Абхазия». По объему она очень большая и является своего рода репортажем с детища первой пятилетки республики. Поэт вспоминает в ней и об историческом прошлом абхазского народа:

Где-то там за спиной,
За высокой стеной
В дальних, синих горах
Проживают легенды
В ущельях-норах.
Прометей,
Генузцы,
Золотое руно,
Да осколки разрушенных башен
Нам внушают,
Что очень давно
Этот край был
В поэме раскрашен.

Но картины прошлого сменяет летопись социалистического строительства:

...Богатства горного не счесть, —
Абхазии
Промышленная честь!
За этой честью
Смотрит в оба
Неугомонный вождь Лакоба,
Любимец Нестор,
Сын страны,
Чьи планы четки и стройны.

Этим духом оптимизма пронизана вся поэма.

Василий Каменский подолгу жил в Абхазии. В одной из последних автобиографий, написанной 23 февраля 1953 года и сохранившейся в Союзе писателей Абхазии, поэт, в частности, писал: «В 1944 г. тяжело заболел тромбозом, который перешел в гангрену, и мне ампутировали обе ноги. Тяжелая болезнь заставила меня покинуть суровый Урал и переехать в г. Сухуми».

16.09.59
512-111033

Весной 1946 года он вместе с композитором Б. Фоминым отдыхал в Новом Афоне. Будучи тяжело больным, продолжал работать. В архиве сохранилось одно из его произведений того периода (1946) — «Май в Афоне»:

...Все будто мы ликуем в сказке
И лучезарный видим сон,
Как по коврам земли абхазской
Раскинул радости Афон.

1 июня в летнем театре Сухумской госфилармонии состоялся творческий вечер В. В. Каменского. Газета «Советская Абхазия» приветствовала поэта: «Творчество Василия Каменского — самобытное, оптимистическое, проникнутое высокими патриотическими чувствами. Окрашенные чудесным песенным даром, живым народным говором, расцвеченные жемчужинами народной мудрости, стихи В. В. Каменского проникают глубоко в душу, волнуют своей свежестью, взволнованным ощущением жизни».

В этот свой приезд поэт остановился в Сухуми у доктора А. С. Грица — родного брата писателя Теодора Грица, издавшего вместе с Н. Харджиевым в 1940 году «Неизданные произведения» Хлебникова. Помимо родственных связей, В. Каменского и Т. Грица связывала большая дружба. Здесь небезынтересно будет остановиться на одном любопытном факте. В 1940 году вышла книга Каменского «Жизнь с Маяковским». В ее написании поэту большую помощь оказал Теодор Гриц. В одном из своих писем, хранящемся в ЦГАЛИ, он сообщал Каменскому: «Мне хочется, чтобы твоя книга с моей помощью стала своего рода энциклопедией по Маяковскому, чтобы в ней был учтен весь газетный, журнальный и архивный материал, чтобы строго была проверена хронология. Только в этом случае книга будет не только интересно написанными **беллетристическими** мемуарами, но материалом для **научной биографии**».

В 1946—1947 гг. Каменский написал в Сухуми одно из последних своих словотворческих произведений, музыкальное стихотворение «На даче светлой Ю», в память о замечательном времени начала 20-х годов. Привожу его полностью.

Я буду вспоминать Айю —
Сухумскую зеленту,

Когда на даче светлой Ю —
Я проводил жиленту.



В расцвет апреля розолей
Приехал морем взмайно
На шхуне с парусом сонлей,
Пристал весной пристайно.

На белой даче светлой Ю —
Ушедшей в рай Нирванны —
Я память утреннюю пью —
Зарейные зоранны.

Заря в цветах. Взывал лучар
Лучистыми циами,
Звенел залетный день зовчар
Разметными зайями.

Встающий рано — видел леснь,
Цвели ннан-африсы,
Перед моим окном в небеснь
Взбегали кипарисы.

Хотелось с птицами Айю
Пьянеть в поэмах зорче,
На белой даче светлой Ю
Казалась жизнь короче.

И мудрость сердная лиар
Лилась лилей в лиамму.
У моря синий волнояр
Прибойно звал в Цувамму.

Я выходил на берег взой
В просторность бирюзами,
Я растворялся в горизой
Под солнцем озоналий.

Цвела душа айли-айлин
Чаруйной изумрудью,
А волны стаями лейлин
Цвели извечной будью.

Витала грань на рейде рей
Астральной укачалью,



Меж сном и жизнью фриорей
Сияла мысль звенчалью.
Крылились дни в Сухум-Кале
В работе словелений,
И мнились книги на скале
Грядущих згамб и длений.

Я буду вспоминать Айю
И корабли из арса,
Когда на даче светлой Ю
С Евреиновым жил цамарса.

Загайра майя има-звень
Пускай звенит брианта,
Я слышал в мире веснецвель
В Сухуме мореанта.

И понял я поэму зорн
Упорных цимбальонов,
Магнолий — яблонь пальюзорн,
Триолей триллионов.

Последние годы (1952—1956), проведенные В. Каменским в Абхазии, были для него самыми мрачными. Не помогала даже весна, на встречу с которой поэт так торопился всегда.

Он жил на высокой горе, напротив старинного замка. Отсюда, с мансарды, хорошо просматривалось море. Он бесконечно рисовал его. И еще — цветные кораблики. Рисунки напоминали детские. А на стене висели яркие полотна молодого Давида Бурлюка. Что еще можно сказать об этих годах — больница, больница, больница.

Потом Каменского увезли в Москву...

К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

Светлана КОШУТ

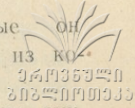
В БИБЛИОТЕКЕ
АЛЕКСЕЯ
ТОЛСТОГО

В ЭТУ большую комнату входишь с особым чувством... Всегда заново поражающим вкусом подобраны здесь вещи, которых совсем не много, как они удивительно «на месте», как им здесь удобно и хорошо. И чувствуешь, что тебе так же хорошо и удобно в этой комнате. Книжки, много книг, во всю длину ковер на полу, картины, камни...

Подальше, ближе к окнам — письменный стол, на нем машинка, та самая пишущая машинка, на которой он, Мастер, работал... Сидишь в одном из тяжелых, глубоких, красного дерева кресел, несмело осматриваешься и... ждешь. Здесь почему-то никогда не оставляет это настойчивое, хотя и тайное ощущение ожидания. Так и кажется — вот сейчас откроется дверь и войдет он, пронзительно посмотрит, улыбнется, и завяжется беседа...

Это напряженно-счастливое чувство ожидания обязательной встречи с Алексеем Николаевичем Толстым особенно крепко охватывало меня в те дни, когда мне посчастливилось в течение нескольких дней подряд приходиться сюда работать, оставаясь каждый раз по несколько часов в его кабинете. Был какой-то волнующий процесс духовного общения с ним

через книги, которые его когда-то окружали, которые он трогал, держал в руках, любил, читал, изучал и многие из которых были получены им в дар от их авторов.



Перебирая их, просматривая, подолгу не выпуская из рук, вчитываясь в дарственные надписи, я вела постоянный внутренний диалог с их хозяином.

Гостеприимная и радушная Людмила Ильинична Толстая, любезно предоставившая мне драгоценную возможность познакомиться с его книгами, рассказала много интересного о них, об истории приобретения той или иной из них, об отношении Алексея Николаевича к этим безмолвным друзьям, о его стиле работы с ними.

Библиотека А. Толстого, безусловно, заслуживает тщательного изучения. Более или менее подробно исследована та ее часть, которая содержит книги исторического характера, особенно связанные с эпохой Петра I, а также со временем Екатерины II, Ивана Грозного и «смутным временем». Однако для ученых не менее интересным должен быть и подбор книг по истории гражданской войны, истории искусства, особенно живописи, книг о русском фольклоре, зарубежных художественных литературах, критике и публицистике. Здесь и многотомные собрания сочинений писателей, и отдельные различные издания их произведений, и многочисленные критические исследования. Все это огромное и разнообразное книжное богатство не систематизировано и не каталогизировано. Это, несомненно, со временем должно быть сделано, и тогда работа исследователей творчества А. Толстого приобретет еще более глубокий и разносторонний характер. Ведь в скольких вопросах, связанных с огромным диапазоном интеллектуально-творческих интересов Алексея Толстого, могла бы помочь разобраться его библиотека! Как много важного и интересного материала она могла бы предоставить ученым, сколько дополнительных сведений для подтверждения тех или иных их гипотез, для постановки новых и разрешения давно поставленных проблем...

Моей непосредственной задачей было отыскать в библиотеке Алексея Толстого книги, подаренные грузинскими авторами или так или иначе связанные с Грузией, с Кавказом.

Известно, какое большое значение придавал А. Толстой проблеме взаимодействия братских литератур Советского Союза, как горячо провозглашал он необходимость их комплексного изучения, подчеркивая огромную роль в этом процессе личных и творческих взаимоотношений разнонациональных писателей, их тесного общения, обмена опытом.

Жизнь и деятельность самого Алексея Николаевича Толстого является замечательным образцом таких плодотворных творческих связей с культурно-литературной общественностью советской публик. В частности, многообразны и глубоки его взаимоотношения с грузинскими деятелями литературы и искусства¹. Он несколько раз приезжает в Грузию, принимает активное участие в творческой жизни страны, интересуется ее литературой, культурой, искусством, историей, изучает их, пишет о них, завязывает тесные дружеские отношения с многими грузинскими писателями и деятелями искусства. Великолепный художник, яркий и общительный человек, он завоевывает популярность и любовь грузинской культурной общественности. Его произведения переводятся на грузинский язык, о нем пишутся статьи и очерки, с ним ведутся оживленные беседы и споры, проводятся дружеские встречи как в Москве, Ленинграде, так и в разных уголках Грузии.

И вот, естественно, это отражается и здесь, в библиотеке А. Толстого. На полках его книжных шкафов встречаются книги, подаренные ему грузинскими писателями и деятелями культуры. Привлекают внимание книги с дарственными надписями известных грузинских писателей К. Гамсахурдиа, Ш. Дадiani, Н. Мицшвили, С. Шаншашвили...

Но характерно, что среди книг, присланных А. Толстому из Грузии, имеются и такие, которые не имеют прямого отношения к литературе. Так, например, Шамше Лежава, бывший участник революционного движения, известный грузинский врач, впервые открывший и изучивший лечебные климатические свойства курорта Шови, преподносит А. Толстому свою книгу «Курорт Шови (Рачинский уезд СССР)» с надписью на заглавном листе: «Тов. Алексею Николаевичу Толстому на память о Шамше Лежаве, 1934 29/IX»².

Люди, дарившие Алексею Толстому книги, не обязательно бывали их авторами. Так, совсем еще молодой Алексей (Али) Арсенишвили преподносит ему в 1912 году «Сборник стихотворений грузинских поэтов в русском переводе княгини С. А. Амраджиби» (М., 1909) с очень трогательной надписью: «Графу Алексею Николаевичу Толстому в знак любви от читателя, преданно-

¹ См. нашу книгу «Алексей Толстой и культурно-литературная общественность Грузии», Тбилиси, «Мецниереба». 1978.

² Личная библиотека А. Толстого, хранящаяся в квартире писателя (Москва, улица Алексея Толстого, № 2, кв. 4).

— Эта и другие ниже приводящиеся дарственные надписи публикуются впервые.

го и любящего автора «Двух жизней» и «Заволжья» безгранично Москва, 24 апреля 1912». Это был знаменательный подарок от человека, вскоре ставшего известным грузинским критиком, переводчиком, уже в эти молодые годы (ему тогда было всего 20 лет) отличавшегося разносторонней образованностью (окончил юридический факультет Московского университета, прекрасно знал русскую, грузинскую и зарубежную литературу, социологию, эстетику), тонким литературным вкусом. Историкам литературы известно его письмо Александру Блску, написанное как раз в 1912 году, вызвавшее большое ответное послание русского поэта, весьма значительное по отразившимся в нем идейно-эстетическим воззрениям Блока предоктябрьского периода.

В сборнике, посланном А. Арсенишвили А. Толстому, имеется предисловие известного исследователя грузинской литературы А. Хаханашвили (Хаханова), в котором приводятся и краткие биографические данные об авторе — талантливой поэтессе Софии Амираджиби, передовой, образованнейшей женщине своего времени, и высказывания о ней таких известных писателей и общественных деятелей, как Акакий Церетели, Екатерина Микеладзе, Сундукини. В предисловии же приводится русский перевод проникновенно-ласкового, щедрого на похвалу стихотворения Акакия Церетели, посвященного памяти этой замечательной женщины, которая, как говорится в этом стихотворении, «была нам сестрой», «будила песней свободной жажду любви всеблагой».

Даря Алексею Толстому книгу переводов грузинской поэзии, принадлежавших перу Софии Амираджиби, чьи «песни» «любил», по его собственному признанию, Акакий Церетели, Али Арсенишвили хотел приобщить любимого и чтимого им русского писателя к богатой сокровищнице грузинской культуры и литературы. И это, надо думать, сыграло свою немаловажную роль в постижении Алексеем Толстым феномена «прекрасной Грузии», «очага древней высокой культуры», «блеска творческих сил ее сынов» и «легкого дыхания трудолюбивого и доброго народа»³, о котором он не раз говорил с глубоким восхищением.

Естественно, однако, что в библиотеке А. Толстого больше можно встретить грузинских книг, подаренных писателю самими их авторами уже в более поздние, 30-е годы, когда стали углубляться межнациональные связи братских литератур, когда рас-

³ Из приветствия Ал. Толстого к 20-летию Грузинской ССР, опубликованного в «Заре Востока» в феврале 1941 года.

ширился радиус творческих и дружеских контактов писателя разных республик.

На одной из полок в кабинете А. Толстого стоит известный грузинский писатель Николо Мицшвили. Это авторизованный перевод с грузинского его «Эпопея», принадлежащий Ш. Сослани и К. Чернявскому (1932), со вступительной статьей Г. Кикодзе. На первой странице дарственная надпись: «А. Н. Толстому, с глубоким уважением. Н. Мицшвили».

Это, конечно, не случайный подарок. Уехав сразу же после победы Советской власти в Грузии за границу и возвратившись через три года, в 1925 году, на родину, он так же, как А. Толстой, сумел постепенно преодолеть в себе социальный пессимизм и предвзятое отношение к советской действительности. Все эти годы Н. Мицшвили, стараясь глубоко и всесторонне осмыслить все пережитое и увиденное, работал над его художественным воплощением в своем самом значительном произведении «Эпопея». В 1932 году он издал его с подзаголовком «Грузинская хроника времен революции». В «Эпопее» изображен грузинский меньшевизм, его подлинное лицо, истоки и причины его поражения, быт меньшевистской эмиграции.

Известно, что, несмотря на определенный налет индивидуализма, в целом «Эпопея» — утверждение нового восприятия мира автором, его симпатий к социализму. И, конечно же, ощущение духовной близости с А. Толстым и общности с ним в отношении такого серьезного идейного поворота двигало Мицшвили, когда он преподносил эту книгу автору «Хождения по мукам».

Не случайно и А. Толстой с такой заинтересованностью прочел ее. Собственно говоря, не просто «прочел», а самым внимательным образом изучил. Об этом можно судить по множеству его карандашных отметок на полях книги и в самом ее тексте. Они о многом могут рассказать читателю, показать ему, что именно особенно приковывало к себе мысль А. Толстого, что вызывало в нем живой отклик и ассоциации. Например, на странице 105 резко и жирно отчеркнул карандашом целый абзац, в котором Н. Мицшвили передает мечты эмигранта «попасть в родную деревню, сойти себе в огород, усесться на корточках и так на корточках поест сухого чурека с зеленым луком»... Можно себе представить, какую гамму разноречивых чувств и воспоминаний вызвало это место в Алексее Николаевиче, которому совсем еще недавно пришлось самому, тяжело пережить разлуку с родной.

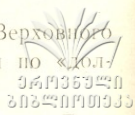
Посылая Алексею Толстому свой известный роман «Десница великого мастера» в русском переводе Ф. Твалтвадзе (изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1943), Константинэ Гамсахурдия пишет знаменательные слова: «Большому мастеру Великой русской земли, всеми нами горячо любимому А. Н. Толстому с глубоким уважением. კონსტანტინე გამსახურდიას». Эти слова были не просто выражением долга вежливости и признанием литературных заслуг А. Н. Толстого. Они передавали восхищенное отношение большого грузинского писателя к творчеству замечательного русского художника слова, служили высокой оценкой. Всего через два года после этого К. Гамсахурдия пришлось обратиться к ушедшему из жизни Алексею Николаевичу со словами прощания. В газете «Известия» рядом с траурными извещениями о кончине писателя были опубликованы и проникновеннейшие строки Гамсахурдия — «Живой в памяти поколений», в которых особенно выделяется не только идейно-художественное, но и социально-политическое звучание его произведений. В словах Гамсахурдия чувствуется глубокая горечь по поводу невозможной утраты, которую понесла советская многонациональная культура в лице большого художника и гражданина. Литература для него была «делом совести, крови и сердца». «Родина, — говорит Гамсахурдия, — для Толстого была жизнью, светом, и в радости, и в горе он был со своим народом, с народами всего великого Советского Союза... Алексей Толстой не был замкнут только в русской культуре. Он показал себя истинным почитателем культур народов всего великого Советского Союза»⁴.

Рядом с романом К. Гамсахурдия на полке стоит небольшая коричневая книга — «Пушкин в Грузии» (в переводе на русский, 1939 год, Тбилиси, изд-во «Заря Востока»). Это подарок А. Толстому от ее автора — другого известного грузинского писателя Шалвы Даднани, большого друга А. Толстого, искренне любившего и уважавшего его. На первой странице Ш. Даднани начертал: «Глубокоуважаемому Алексею Николаевичу на его суд строгий, но... справедливый приношу сей плод моего дерзновения. Шалва Даднани. 27.II.40».

Знакомство этих двух замечательных советских художников произошло еще на I Всесоюзном съезде писателей, но особенно тесная и глубокая дружба между ними, по словам самого Ш. Да-

⁴ Гамсахурдия К., Живой в памяти поколений. Газ. «Известия», 1945, 25 февраля, с. 3.

днани, окрепла после избрания их обоим депутатами Верховного Совета СССР, когда они стали чаще встречаться уже и по «долгу» своих депутатских дел.



К этому времени как раз и относится этот подарок. Тема этой пьесы Даднани, раскрывающая одну из значительных граней истории литературно-культурных взаимосвязей русского и грузинского народов, была особенно близка А. Толстому, который именно в эти годы был глубоко увлечен мыслями и делами, касающимися теории и практики комплексного изучения братских литератур Советского Союза, вопросам их взаимообогащения и взаимосвязей. И книга Ш. Даднани оказалась удивительно своевременным и пугным вкладом в дело русско-грузинских культурно-литературных взаимосвязей.

Рядом с произведениями К. Гамсахурдиа и Ш. Даднани наша здесь свое место и книга известного грузинского поэта и драматурга Сандро Шаншашвили. Это русский перевод в прозе (принадлежащий А. И. Канчели) его знаменитой пьесы «Арсен» (М., «Искусство», 1936).

Эта пьеса С. Шаншашвили сыграла важную роль в истории развития советской грузинской драматургии и явилась идейно-художественной вершиной драматургического творчества ее автора. Книга издана в 1936 году, что совпало со временем блистательных гастролей тбилисского театра им. Руставели в Москве. Московская пресса, отражая мнение столичных зрителей, восторженно отзывалась в те дни на эти спектакли, явившиеся примечательным явлением культурной жизни того времени, и в частности — на «Арсена» С. Шаншашвили, впервые показанного москвичам и ставшего значительным, этапным спектаклем в истории театра им. Руставели (например, статья в «Известиях» от 30 сентября 1936 года).

А. Толстой не раз подчеркивал, какое большое значение для художника, чья муза вдохновляется исторической тематикой, приобретают те узловые периоды истории родной страны, в которых особенно проявлялась активность народных масс, как, например, «такие удивительные,—по его словам,—эпохи, как опричная эпоха Грозного, переход народа через смутное время, восстание Разина, время Петра Первого, казачьи бунты, восстание крепостных и заводских мужиков при Екатерине Второй, наконец, беспримерная в истории Октябрьская революция»⁵. Поэтому он не мог остаться равнодушным к героико-романтической драме

⁵ А. Н. Толстой, ПСС, т. 13, с. 110, М. (1946—53).

С. Шаншашвили, повествующей о революционном движении беднейшего грузинского крестьянства в прошлом веке. И автор «Арсена», преподнося А. Толстому эту книгу и делая свою дарственную надпись на ней: «Алексею Николаевичу Толстому в знак большого уважения и любви»⁶, — не мог не понимать этой глубокой идейной общности между собой и своим замечательным русским собратом по перу.

А. Н. Толстой всегда уделял много времени и внимания творческой молодежи, ее делам, заботам и нуждам, понимая, какая большая ответственность лежит на тех, в чьих руках не только настоящее, но и будущее советской литературы. С большим интересом он относился к молодым писателям союзных республик.

Письмо молодого грузинского прозаика Шалвы Виссарионовича Сослани, погибшего на фронте в годы Великой Отечественной войны, посланное А. Н. Толстому 12 октября 1934 года вместе с подаренной книгой, является красноречивым тому свидетельством.

Как выясняется из этого письма, Шалва Сослани встречался с А. Толстым в период съезда писателей в Москве, беседовал с ним, будучи еще совсем юным, начинающим литератором. А. Толстой уже тогда, оказывается, слышал о нем и, заинтересовавшись его творчеством, хотел иметь его книгу. И вот, посылая через несколько месяцев Алексею Николаевичу свою новую книгу, Ш. Сослани напоминает ему обо всем этом: «Дорогой Алексей Николаевич! Меня с Вами познакомили в Москве, на встрече грузинских и русских поэтов и писателей, в Доме Союза писателей (это было за банкетом). Вы изволили сказать, что слышали обо мне и желали бы иметь мою книгу. Пользуюсь случаем и посылаю Вам через посредство моих ленинградских друзей... свою вторую книжонку «Ача», изданную московским ГИХЛом в 1933 году.

Если повести мои, а в особенности первая из них, написанная позднее «Речи рек», оставит на Вас благоприятное для молодого автора впечатление, — я бы тогда осмелился указать Вам на мою первую повесть «Конь и Кэтевана» (вышедшую в том же ГИХЛе в 32-м году), создавшую мне некоторое мое писательское

⁶ Дата надписи: 1/II 1937 г.

имя... С великим почтением и любовью Шалва Сослани»⁷. В по-
скриптуме письма, оправдываясь перед Алексеем Николаевичем,
чем, он объясняет, что свою книгу не передал ему тогда в
Москве, «из-за суматохи съездовских дней»⁸.

К сожалению, этой книги Ш. Сослани в библиотеке Алексея
Толстого мы не сумели отыскать. И это лишний раз говорит о
том, сколько там еще могло быть и было, очевидно, подобных
книг, подаренных писателю представителями как грузинской, так
и многих других братских национальных литератур, но по тем
или иным причинам они теперь отсутствуют.

Итак, мы ненадолго остановились у полок домашней biblio-
теки Алексея Николаевича Толстого, перелистали некоторые из
находящихся здесь книг, познакомились с дарственными подписа-
ми на них... На наш взгляд, многое здесь может послужить еще
одним штрихом, красноречиво дополняющим наше представление
о нем как о художнике, относящемся к плеяде тех деятелей со-
ветской литературы, которые еще в ранний период становления и
развития социалистического искусства и литературы в нашей
стране хорошо понимали великую роль взаимодействия и взаимо-
обогащения братских литератур в этом процессе, которые актив-
но участвовали не только в создании, углубленной разработке и
пропаганде теории многонациональной советской литературы, но
и своими непосредственными творческими и личными взаимокон-
тактами с культурно-литературной общественностью братских
республик развивали ее.

7 Рукописный отдел ИМ.ЛИ им. Горького. Архив А. Н. Тол-
стого. Ф. 43, инв. № 2902. Публикуется впервые.

8 Там же.

Луарсаб ЕГОРОВ

НОВЬ ОРЛИНОГО КРАЯ

«Осуществление задач Продовольственной программы СССР — всенародное дело, первейший долг всех партийных, советских и хозяйственных органов, профсоюзных и комсомольских организаций, всех труженников колхозов и совхозов, других предприятий: агропромышленного комплекса, каждого советского человека». (Из Продовольственной программы СССР на период до 1990 года).

ЕСЛИ бы на свете не было Сванетии — ее, наверное, стоило бы выдумать. У человека, приехавшего сюда впервые, захватывает дух и начинает кружиться голова. Нет, не оттого, что он попал в заоблачные выси, а скорее потому, что он чувствует себя в сказочно-каменной западне, окруженной могучими горами, покрытыми изумрудом лесов. С их заоблачных высот устремляются вниз, к Ингури, многочисленные ручьи и реки, гремящие водо-

падами, kloкочущие седой пеной и оставляющие на неистово белом ковре, сотканном природой, бело-голубые нити — следы.

Воздух источает необыкновенную свежесть и чистоту, весь прозрачный, напоенный ароматом альпийских лугов.

И на все это великолепие безмолвно взирают величественные сванские башни, много веков стоящие на страже первозданной красоты и покоя семейного очага. Воистину сказочный уголок грузинской земли!

Местиа — чистый, благоустроенный, нарядный поселок. Как он преобразился за последнее время. Здесь и водопровод, и канализация, и голубые экраны телевизоров, которые прорубили сванам окно в большой мир... Словом, в Местиа, пожалуй, больше, чем где-либо, видны разительные перемены...

Они проявляются ярко и зримо, заявляя о себе буквально на каждом шагу. О них взволнованно и увлеченно рассказывает «мэр» поселка, председатель Местийского поселкового Совета народных депутатов Реджиб Джапаридзе.

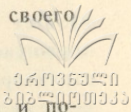
Реджибу Григорьевичу — под шестьдесят. Он — ветеран войны. Красивый, статный, мужественный человек с бронзовым от загара лицом и веселыми, искрящимися глазами. Работает председателем восьмой год.

За это время Местийский поселковый Совет семь раз подряд выходил победителем социалистического соревнования, широко развернувшегося в районе между местными Советами, итоги которого ежегодно подводятся специальной комиссией, созданной при райкоме партии. Особо следует отметить, что Местийский поселковый Совет по итогам десятой пятилетки завоевал второе место в республике, а его председатель удостоен высокой правительственной награды — ордена Трудового Красного Знамени...

Еще сравнительно недавно добраться до Местиа было довольно трудно. Видавшие виды «кукурузники», летающие сюда из Кутаиси и Зугдиди, ходят из-за метеоусловий трассы, как любят выражаться работники Аэрофлота, крайне нерегулярно. Автомобильный путь из Зугдиди по старой дороге был многотруден.

В связи со строительством дороги мне рассказали о любопытном случае. Когда в начале тридцатых годов по инициативе Филиппа Махарадзе была проложена магистраль и по ней, тяжело дыша и отплевываясь бензиновым перегаром, приползла первая автомашина (то была знаменитая полторка, о которой многие сейчас знают лишь по кинофильмам), в селе Эцери водитель решил залить в закипевший радиатор воды. Собравшиеся вокруг грузовика крестьяне сперва с боязливым любопытством его разглядывали, потом осторожно шупали и, наконец, осмелев, спроси-

ли у водителя: «Скажи, пожалуйста, чем ты кормишь своего стального коня?»



— Сенем, — пошутил шофер.

Тогда группа людей притащила огромную охапку сена и положила перед автомобилем. Каково же было их удивление, когда стальной конь, отказавшись от аппетитного лакомства, зарычал, зафыркал, медленно тронувшись с места, набрал скорость, скрывшись за поворотом.

— Сыт, наверное, — сказал один из крестьян. — Просто попить, видимо, захотелось. Умный конь...

Ныне старая магистраль, верно служившая людям не один десяток лет, реконструирована и заасфальтирована. За каких-нибудь три часа из Зугдиди до Местиа можно прокатиться с комфортом по одной из красивейших в мире (и это не преувеличение) автомобильных дорог.

Но проблема дорог остается наиболее острой для высокогорного края, и от ее решения зависит очень многое в плане социально-экономического развития Сванетии.

Проблеме дорожного строительства уделено большое внимание в постановлении ЦК КП Грузии и Совета Министров Грузинской ССР «О некоторых мерах по дальнейшему социально-экономическому развитию Местийского района», принятом по инициативе руководства ЦК КП Грузии в августе 1974 года.

Говорят, что жизнь дарит человеку дорогу, дорога — людей, а люди — добро. За несколько дней, что я находился в Местийском районе, жизнь подарила мне много интересных встреч с великолепными людьми. Они рассказывали о своей работе, проблемах, которые их волнуют, и сейчас, когда пишу эти строки, я, перечитывая свои записи, прихожу, как это ни странно, к парадоксальному на первый взгляд выводу: обновленная автомагистраль Зугдиди — Местиа еще более обострила проблемы дорожного строительства. Да и не только дорожного, но и строительства вообще. Вроде бы — противоречие, а если разобраться по существу, никакого парадокса нет. Это, если хотите, диалектика наших будней.

Проблемы дорожного строительства, как и строительства вообще, волнуют в Сванетии очень многих. Глубоко и заинтересованно анализирует их председатель исполкома Местийского районного Совета народных депутатов Эльдар Варламович Хвистани. Ему, уроженцу этих мест, окончившему в 1964 году исторический фа-

культет Тбилисского государственного университета и прошедшему хорошую жизненную школу (Хвистани начал трудовой путь инструктором райкома комсомола, был председателем сельского Совета села Ипари, инструктором райкома партии, председателем районного Комитета народного контроля, вторым секретарем райкома партии), видно многое.

Он отлично понимает, что после того, как районный центр получил надежную связь с другими регионами республики, на первый план выдвинулась проблема сооружения современных транспортных коммуникаций внутри района. А своих сил и средств для их создания явно недостаточно.

«Развитие транспорта, дорожной сети, — сказано в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Юрия Владимировича Андропова на торжественном заседании, посвященном 60-летию образования СССР, — приближая село к городу, будет в немалой мере способствовать... закреплению кадров на селе... Обеспечивая повседневные человеческие контакты... живые связи между всеми... районами страны, транспорт служит приобщению людей к достижениям социалистической цивилизации в самом широком смысле слова».

Вопросы дорожного строительства беспокоят не только руководящих работников Местийского района, но и простых тружеников, тех, кто вносит непосредственный вклад в копилку одиннадцатой пятилетки, кто практически занимается вопросами, связанными с реализацией Продовольственной программы, а потенциальные возможности Сванетии в деле увеличения производства продуктов животноводства поистине огромны. Об этом говорил мне, в частности, знатный труженик района, передовик кормозаготовительного производства Индикко Адиларович Авалиани.

Индикко Адиларовичу — 62 года. 45 из них он заготавливает корма.

Заготовка кормов — целая программа действий. Труженики высокогорной Сванетии полны желания практически претворить ее в жизнь. Отдача может быть очень весомой. Но тут встает во весь рост еще одна проблема, даже не одна, а целый комплекс проблем.

Климатические, рельефные и природные условия этого сказочно - красивого, необыкновенно гостеприимного края объективно создают большие трудности для организации эффективного кормопроизводства.

Можно, к примеру, заготовить на альпийских лугах большое количество великолепного сена, но не успеть его вывезти к животноводческим фермам, ибо нет соответствующих транспортных ком-

муникаций, а узкие проселочные дороги не дают возможности использовать имеющиеся транспортные средства.

Если к тому же учесть, что большую часть года горные долины и перевалы находятся под глубоким снежным покровом, ясно, что решить эту проблему не только непросто, к ее практическому осуществлению следует подходить комплексно.

Как же организовать дело, чтобы в одиннадцатой пятилетке и обозримом будущем осуществлять производство кормов на промышленной основе? Необходимо практически решить проблему, связанную с малой механизацией в организации заготовки кормов. На сегодняшний день почти все приходится здесь делать вручную — и косить, и скирдовать, и грузить сено для того, чтобы вывезти его с лугов к животноводческим фермам.

Животноводы Сванетии возлагают надежды на помощь ученых, специалистов из Грузинского политехнического института имени В. И. Ленина, Грузинского сельскохозяйственного института, НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства и ряда других научных организаций. Могут помочь и производственники — работники объединения «Грузсельмаш», Кутаисского завода малогабаритных тракторов и ряда других трудовых коллективов, специализирующихся на выпуске сельскохозяйственной техники.

Однако в первую очередь необходимо решать проблему транспортировки кормов. А значит, начинать надо со строительства дорог, причем не только автомобильных, но и канатных. Об этом говорила мне знатная доярка Ипарского животноводческого совхоза Гуло Эдуардовна Пангани, об этом же вела речь и Айшат Сисоевна Маргиани, за плечами которой три десятилетия нелегкого, каждодневного труда доярки.

Вообще должен сказать, что в этом сказочном крае живут удивительно красивые люди. И красота их заключена в первую очередь в каждодневном, напряженном, созидательном труде.

Со многими из них познакомил меня первый секретарь Местийского райкома Компартии Грузии Иосиф Николаевич Картозия.

Сосо Картозия — человек, у которого слово не расходится с делом. Плотный, кряжистый, на первый взгляд несколько флегматичный, он весь начинен неумемной внутренней энергией, хотя внешне спокоен и рассудителен.

За плечами Картозия солидный опыт хозяйственной, советской и партийной работы. Был директором чайной фабрики, работал

председателем Цхакаевского райисполкома, вот уже несколько лет возглавляет партийную организацию Местийского района. Мысли этот человек трезво, к оценке своей деятельности подходит критически, стремится решить ту или иную проблему с учетом перспектив. Словом, этот человек на своем месте.

Проблемы, с которыми сталкиваются руководители нового типа, сложны. И их, этих проблем, немало. Причем каждая требует глубокого научного подхода, учета всех объективных факторов и, как обязательное условие, — видения перспективы.

— Главное для нас сегодня, — говорит Картозия, — практическое решение вопросов, связанных с Продовольственной программой. Если нам окажут необходимую помощь в повышении энерговооруженности и технической оснащенности горного земледелия, мы могли бы к концу пятилетки удвоить производство животноводческой продукции. Давайте поедем на один из высокогорных сенокосных участков, вы все увидите своими глазами...

Проселочная дорога, продираясь сквозь непроходимые заросли островерхого разлапистого ельника, петляла в лесном море, взбираясь все выше и выше в поднебесье. Альпийский луг в пору буйного цветения вобрал в себя все цвета радужного спектра. До чего же неистощима природа в выборе красок: от пурпурно-алых до темно-лиловых, от нежно-сиреневых до факельно-желтых. И все это на фоне неистово зеленой зелени.

Райкомовский газик, натужно ворча и икая, ползет все выше и выше. Дороги уже нет — кругом луга, кустарники, в зелени которых пламенеют кровавые гроздья рябины. То там, то здесь попадаются косари, оставляя за собой светлый след в густом море травы. Работают молча, сосредоточенно. Технику бы сюда.

Двуглавой вершиной сияет на солнце красавица Ушба, дальше — величественный Тетнульд, а внизу, в ущелье, тонкой серебристой ниточкой змеится Ингури. Нас обнимает удивительная тишина, будоражающая кровь и сердце. Такой тишины я еще никогда не слышал. Разговариваем шепотом, боясь потревожить первозданный покой природы.

— Вот канатная дорога отсюда вниз, прямо в Местиа, решила бы многие проблемы... — замечает Картозия.

— А можно и молокопровод из пластиковых труб, — вырывается у меня как-то произвольно.

— Молокопровод? Это интересная идея. Подумаем, подумаем. Как же это мне самому в голову не пришло...

Мы возвращались обратно под вечер. Картозия говорил о том, что решать большие экономические задачи нельзя в отрыве от проблем социальных.

— Вы были в нашем музее?—спросил он.—Там же уникальнейшие экспонаты. А как и где они размещены? В лачуге, в просы, связанные с бытовым обслуживанием сельского населения, а проблемы развития туризма? Везде нетронутая целина...

Да, проблем, которые заботят партийных и советских руководителей высокогорной Сванетии, немало. Проблем серьезных, разноплановых, практическое решение которых часто зависит не столько от районных организаций, сколько от деятельности многих республиканских министерств и ведомств.

Современная автомобильная магистраль в Местиа сделала эти давние проблемы, прежде скрытые от глаз, настойчиво тревожащими, заявляющими о себе в полный голос.

Решение этих проблем еще больше преобразит сказочный край, сыграет очень важную роль в практическом осуществлении Продовольственной программы, в деле подлинного социалистического обновления чудесного уголка нашей солнечной республики, где парят орлы и горят на солнце вершины красавицы Ушбы, где живут сваны — замечательные, чистые душой, трудолюбивые, гордые, добрые и необыкновенно гостеприимные люди.

Местиа—Тбилиси.

- ДОКУМЕНТЫ

- ПИСЬМА

- ВОСПОМИНАНИЯ

ЗАБЫТАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПРОСМАТРИВАЯ в сия-
зи с одной работой пе-
риодическую печать, я случайно
прошлого столетия, я случай-
но наткнулся на статью, кото-
рая имела отношение к вели-
кому русскому писателю
Ф. М. Достоевскому.

Статья под заглавием «Из
воспоминаний о Ф. М. Досто-
евском» была напечатана в
1882 году в издававшейся в
Тбилиси газете «Кавказ»
(№№ 40 и 41 от 13 и 14 фев-
рала 1882 г.).

Автором статьи был жур-
налист того времени некий
Алексей Южный.

Статье предпосланы были
в качестве эпиграфа сле-
дующие стихи русского поэта
прошлого века А. Борови-
ковского:

Он в «мертвом доме» жил.

Там люди заперты

От жизни, от надежд,
заброшен ключ

от двери...

И сам среди цепей он

отыскал цветы—

В сердцах людей, людьми
отвергнутых, как

«звери».

Сама статья показалась мне
достаточно интересной для то-
го, чтобы привести ее полно-
стью¹.

«Это было летом 1880 го-
да. Я только что возвратился
из-за границы. Открытие

¹ Статья приводится с со-
хранением грамматических
правил того времени.

Кельнского собора, шумная и многочисленная толпа все светных шатунов в Гамбурге, тысячами толпящихся у руле- ток, не менее шумные и бьющие на эффект парады республиканских войск в Париже, — все это страшно утомило меня: в голо- ве стоял какой-то чад, перед глазами носился пестрый калейдо- скоп, и потому я очень рад был внезапной случайности, вызвав- шей меня в Петербург. Впрочем, эта случайность заняла у меня всего неделю времени и, следовательно, впереди предстояло почти полуторамесячное пребывание в опустевшем городе. Пыльный Невский, чахлые деревья Лесного, раскаленный купол Исаакья, певцы и певицы Берга — все это может иметь некоторую пре- дельность для провинциала, жаждущего видеть Петербург, как во вре- мена «оны».... но для постоянного жителя столицы не составляет никакого интереса. В виду всего этого я решил провести остаток лета где-нибудь на чистом воздухе, вдали от шума и толпы. Выбор мой пал на Старую Руссу, купания которой мне хвалило несколько лиц, в том числе С. Шашков.

Не позже как через неделю, в первых числах августа, я уже поселился в Старой Руссе, в доме какой-то вдовы отставного ка- питана, которая расхваливала мне свои «меблированные комна- ты» как восьмое чудо света (в последнее время этих восьмых чудес развелось особо много). На деле же оказалось совсем на- оборот, комнаты были прескверные, низенькие и грязные, но вы- бирать было не из чего, лучшие квартиры были заняты, а оста- лись, как говорят малороссы, одни «последки», да и за те тре- бовали баснословные цены.

Кроме меня, у капитанши занимали квартиры еще три лич- ности: раненный офицер (с ним капитанша была особенно пре- дупредительна и приветлива), чахоточная гувернантка и высокий седой старик, бывший для меня большой загадкой.

Хотя Старая Русса при ближайшем знакомстве с ней и не понравилась мне, но я все-таки был доволен тем, что жил в уе- динении, распоряжался свободным временем как хотел и мог привести в порядок свои заграничные впечатления. Занимался я преимущественно в полдень и поздно вечером, остальное же вре- мя посвящал прогулке с ружьем по окрестным лесам, купался или же, захватив с собой книгу, отправлялся в какое-нибудь уе- диненное место довольно тенистого парка на Красном берегу.

Выше я уже заметил, что в числе квартирантов моей хозяй- ки был один старик, служивший для меня загадкой. Действитель- но, с первого раза как я только увидел, он приковал к себе мое внимание. Это случилось так. Прошло около недели со времени моего приезда в Старую Руссу. Был полдень, солнце пекло невы-

носимо и наполняло мою комнату целыми потоками света, вследствие чего я опустил грязные зеленые шторы и принялся разбирать кипу почтовой корреспонденции, в первый раз еще полученной мною здесь.

Всякий, кто привык ежедневно пробегать журналы и газеты, поймет, с какой я жадностью пожирал печатные столбцы после недельного поста. В это время — в минуту самого напряженного внимания я был поражен раздирающим душу криком, раздавшимся с улицы.

Крик этот, и без того ужасный, в окружающей тишине приобретал еще более зловещий характер. Я вздрогнул от испуга и, швырнув газету в сторону, в несколько прыжков был уже на дворе.

Калитка на улице была отворена и за воротами стояла хозяйка и еще кто-то из прислуги, безучастно глядя на разыгравшуюся вблизи отвратительную сцену.

Я в один миг очутился на улице и глазам представилась следующая картина. Напротив одного из соседних домов высокий, здоровый мужчина в русской поддевке и высоких сапогах нещадно бил плетью молодую красивую женщину в нарядном костюме новгородской горожанки. Несчастная уже не кричала, а лишь хрипела и безжизненно моталась на руке у истязателя, который держал ее за косу. Несмотря на то, что из всех дворов и домов высыпала масса народа, никто не делал ни малейшей попытки освободить несчастную от тиранства.

Возмущенный до глубины души как зверством истязателя, так и апатичным хладнокровием глазевшей на потеху толпы, я хотел уж броситься к несчастной на помощь, как в эту минуту мимо меня пронесся мой сосед старик. Он был без шапки, длинные седые волосы густыми прядями ниспадали до плеч и красиво оттеняли благородное открытое лицо, окаймленное большой седой бородой. Подбежав к мучившему женщину, он схватил его за плечи и с необыкновенной силой присадил к земле.

— Брось плеть, подлец! — судорожно проговорил он, пожирая сверкавшими гневом глазами смутившегося от внезапного нападения мужчину в поддевке.

Последний, как бы чувствуя если не физическое, то нравственное превосходство старика, отпустил свою жертву, держа однако плеть в руке. Впрочем, замешательство его длилось одно мгновение, затем ярость поднялась с удвоенной силой и уже обратилась на защитника несчастной. Ловко вывернувшись из рук старика, он так сильно ударил его локтем в грудь, что тот зашатался и упал как сноп. Не удовольствовавшись этим, он хо-

96035340
80220110333

тел еще ударить его ногой по лицу, но тут уже подоспел я и помешал этому. Мне приходилось вступать в борьбу с разъяренным зверем и я, конечно, был бы побежден, как мой предшественник, но к счастью, в эту критическую минуту подоспел один из вечно опаздывающих блюстителей порядка и отвратительная сцена прекратилась. Сдав бушевавшего на руки полицейскому и некоторым из толпы, я подошел к лежавшему старику. Он был в сознании, но видно, удар пришелся метко: дыхание было прерывисто и на глазах выступили слезы. Я помог ему встать и повел под руку к дому. У ворот нас встретила хозяйка с следующим замечанием:

— Охота вам была вступаться за эту дрянь. Жаль, что Егоров и ее любовника не попотчевал.

В ответ на эти слова, служившая разгадкой вышеописанной сцены, старик ничего не ответил, только как-то странно поглядел на говорившую.

Я помог ему дойти до своей комнаты и предложил позвать доктора, но он отрицательно мотнул головой и отрывистым слабым голосом произнес: — не надо, я привык!

В тот момент я не обратил на последние его слова никакого внимания, но впоследствии, как увидит читатель, они получили для меня особое значение.

На этом пока и остановилось наше знакомство. Ни он, ни я не делали дальнейших попыток к сближению, хотя меня невыразимо влекло к этому молчаливому человеку, открытое и прямодушное лицо которого носило на себе следы глубокого горя и множества перенесенных страданий.

От хозяйки я знал только, что его фамилия Рожновский, но этим и ограничились все мои сведения о нем.

Прошел месяц со дня моего первого столкновения с Рожновским. Погода начала портиться. Большинство купавшихся разъехалось, решил и я уехать через несколько дней.

Помню, за два дня до моего отъезда был пасмурный тихий день. Все небо заволкло тучами и начал накрапывать мелкий дождь, грозивший зарядить на несколько суток. Я хотел было остаться на целый день дома, но потом вспомнил, что мне необходимо отправить одно срочное письмо заказным, потому я быстро оделся и вышел, спеша возвратиться назад, пока улицы не покрылись грязью.

Возвращаясь назад, я близ собора встретил Рожновского. Он быстро шел мне навстречу, как будто никого и ничего не замечая, но поровнявшись со мной, внезапно остановился, тив меня за руку, произнес:

— Покойник здесь! Вы его видели?

Не зная что и подумать о подобном вопросе, я в конце концов предположил, что с ним горячка, тем более, что рука его, сжимавшая мою, горела, как в огне. Однако, я его спросил:

— О ком вы говорите? Какой покойник?

При моем вопросе лицо Рожновского перекосилось, как будто от внезапно нахлынувшего болезненного ощущения.

— Ах, ведь вы не знаете ничего! Простите меня!

Последнюю фразу он произнес так спокойно, что трудно было предположить бред, кроме того, вслед за нею он сильно закашляя и приложил платок к губам. Весь платок был в крови. Я понял все. Не желая оставлять его в таком положении одного, я спросил:

— Куда вы идете в такую дурную погоду?

— Хотел идти к «нему», да не стоит тревожить старые раны.

Мне небольшого труда стоило уговорить его отправиться домой.

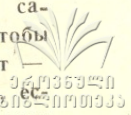
Комната, занимаемая Рожновским, как и все остальные квартиры капитанши, была скудно меблирована, но носила на себе следы особенной уютности. В углу стояла железная кровать, постель была покрыта безукоризненно чистым бельем. В стороне у окна стоял большой письменный стол, весь заваленный бумагами, книгами и газетами. Над кроватью висел поясной портрет молодой женщины редкой красoty, единственное украшение всей комнаты. Несколько стульев и кресло перед столом дополняли меблировку.

Я хотел уложить Рожновского в постель, но он не согласился на это, точно также отказался он и от приема доктора, но здесь я действовал уже самостоятельно. Мне удалось застать доктора дома и через полчаса он уже был в квартире Рожновского.

При входе доктора Рожновский насмешливо улыбнулся, однако на все вопросы отвечал вполне разумно.

Доктор пробыл недолго. Внимательно выслушав грудь и осмотрев больного, он потребовал бумаги и перо. Через две минуты доктор подал мне рецепт. Читаю: *Sachari Aqua distilata*. Я с недоумением посмотрел на доктора, не зная, что предположить: мистифицирует ли он или шутит. Доктор заметил мой взгляд и глазами же указал мне, чтобы я вышел с ним.

В коридоре он остановился.



— Вы удивляетесь, отчего я прописал опасно больному сахар и воду, да ведь надо же было что-нибудь прописать, чтобы успокоить больного, а более радикальные средства не помогут поздно. Можно бы было прописать что-нибудь успокаивающее, если бы предвиделись страдания, но и этого не нужно: по всем признакам больной должен умереть спокойно. Недавно он получил удар, от которого последовал разрыв каверны и ускорилось разложение легких. Впрочем, если последует ухудшение, пришлите за мной, добавил он, прощаясь со мной.

Эти беспощадные слова ошеломили меня.

— Неужели же нет никакого спасения, доктор? — с сомнением спросил я.

— Никакого! Ему осталось двое или трое суток жизни!

С тяжелым чувством возвратился я к Рожновскому. Он лежал на кровати.

— Устал я, полежать захотелось, — с усилием проговорил он.

Я приказал подать в его комнату самовар и решил не оставлять его одного.

К вечеру Рожновскому сделалось лучше и он рассказал мне многое, что я постараюсь передать здесь читателям, насколько помню.

«Покойник» вам незнаком, начал Рожновский, но если я вам скажу имя того, кого я называю по старой памяти «покойником», то вы наверное не скажете «не знаю». «Покойником» на каторге звали Достоевского. Давно это было. Мы были вместе там. Впрочем, я раньше его прибыл туда. Кажется, через год или два после меня привели и его. Я не из повстанцев — они пришли после. Я ее зарезал (с этими словами он указал на портрет, висевший на стене, и глаза его сверкнули дикой страстью).

Когда пришел Достоевский, то с первого раза сильно не понравился «ватаге»*. Каторга имеет свои законы и каторжники строго следят за точным выполнением их. Иного и сами зарежут. Там закон Линча в ходу. У нас насчет женщин было строго и все ватажники горой стояли друг за друга в этом деле. Каждый из нас по очереди дежурил по вечерам, когда проходили прачки

* «Ватагой» на каторжных работах называется партия арестантов, помещающаяся в одной казарме или отделении. Ватага имеет старшего из отпетых, который называется «большаком» или «старостой».

из прачешной, а Достоевский отказался от дежурства, когда очередь дошла до него. В другой раз он достал от солдата махорки. По тамошним правилам, если кто достанет половину берет себе, а другую половину делят на несколько частей и затем бросают жребий, кому достанется. Достоевский же и от своей части отказался, и жребий не захотел бросать: разделил пополам между двумя цынготными. Вот на него и взъелись «большаки» наши: «что, ты порядки сюда новые вводить пришел», говорят; хотели «крышку»** сделать, но здесь Достоевского спасло одно обстоятельство. Однажды в пищу одному из каторжников попался какой-то комок. Развернули, смотрим: тряпка и в ней кости и еще какая-то гадость. Может быть, нечаянно попало, а может, кто и нарочно бросил. Тот, к кому попал этот комок, хотел бросить его и смолчать — старый был арестант, знал порядки, а Достоевский говорит: «надо жаловаться, если ты боишься, давай мне». Хотели мы его предупредить, чтобы не жаловался он, да «большак» запретил. Вот при проверке и выходит Достоевский с тряпкой вперед. Набросились тут на него плацмайор и ключник — «ты это нарочно выдумал, чтобы бунт поднимать. Эй, кто видел, что это было у него в чашке, выходи!» Арестанты молчат, «большаков» боятся. Хотел было я выйти, да думаю: один в поле не воин, если не «большаки», то начальство заест. А знаете, ведь своя рубашка ближе к телу, постоял плацмайор, видит — все молчат.

— «В кордегардию! Пятьдесят!»

Увели Достоевского. Прележал он потом недели две в больнице, затем выписали — выздоровел. Вот этот случай и спас его от «крышки». Он теперь уже сделался свой, «крещенный», за вагатагу пострадал.

Прошло около года после этого случая.

Я работал с ним в одной партии. Нравился мне он за свой тихий характер. Пальцем, бывало, никого не тронет, не то что другие, бывшие у нас, хотя тоже из привилегированных. Да и совесть, признаться, мучила: почему я тогда не подтвердил его слов перед плац-майором; он (Достоевский) болезнь после экзекуции получил на всю жизнь***.

Иногда, бывало, ночью как начнет его бить об нары, так мы его сейчас свяжем куртками, так и успокоится.

** «Крышку» сделать на арестантском жаргоне — убить.

*** Здесь Рожновский, вероятно, намекал на припадки, сведшие потом Ф. М. в могилу.

Пошли мы однажды барку ломать и взяли урок втроем. Третий был солдат, по фамилии Головачев — в работы попал за нанесение удара ротному командиру. Начали работать. Погода была хорошая, на душе было как-то веселее обыкновенного. Работа шла скоро. Уже почти оканчивали урок, как я вдруг нечаянно уронил топор в воду. Что тут делать, — надо достать во что бы то ни было: конвойные требуют, чтобы топор был, а не то грозят прикладами. Снял я куртку и штаны, подвязался веревкой и начал спускаться. Все было бы хорошо, да на беду плац-майор работы объезжал. Увидал, что меня Достоевский и Головачев держат в воде, и спрашивает: «что здесь такое?» Конвойные ответили.

— «Не задерживать работ, пусть сам знает, бросьте веревку», — кричит он на Головачева и Достоевского. Те не слушают. Побелел весь от злобы плац-майор, даже пена на губах выступила; зверь, а не человек был.

— «В кордегардию после работ!»

Сел на дрожки и уехал.

Достал я топор, вылез из воды. Жутко было оканчивать работу, а надо кончить, не то прибавят.

Вернулись мы вечером в замок.

Я думал, что и меня поведут в кордегардию, — нет, повели только Достоевского и Головачева. Не знаю, как их наказывали, только пронесся на другой день слух у нас, что Достоевский умер. Я поверил этому, зная, что он не привык к подобным пыткам, да притом и болен был еще.

Слух упорно держался, так что мы были вполне уверены в его смерти, а достоверно узнать нельзя было, — никто за это время из больницы не выписался.

Прошло месяца полтора после этой экзекуции, многие уже начали забывать о Достоевском. Я только не мог никак забыть его, все он как будто стоит перед глазами.

Пришли мы однажды с работ — камень дробили. Было уже довольно поздно, так что в отделении, когда я зашел туда, был полумрак. Подхожу к нарам, смотрю, кто-то сидит. Я думал — новичок какой-нибудь, и особенного внимания не обратил, вдруг слышу знакомый голос.

— Здравствуй, Рожновский!

Приглядываюсь... Достоевский.

Не могу передать вам, как я испугался в ту минуту. Мне показалось, что это привидение, выходец с того света. Я так и оцепенел на месте.

Мне
94435340
3022010330

— Что ты так смотришь? Не узнаешь?

Руку протягивает...

— Достоевский! Разве ты жив? — мог только я проговорить: смех и слезы — все смешалось в горле, и я повис у него на шее.

После все объяснилось. Рядом с койкой Достоевского в госпитале лежал горячешный больной, который и умер на другой день после поступления Достоевского в госпиталь. Фельдшер по ошибке записал, что умер Достоевский. Все разъяснилось тогда, когда Достоевский выздоровел и выписался из госпиталя. После этого случая и дали у нас в «ватаге» кличку «покойник». По фамилии больше никогда и не называли.

— Живо помню еще один случай, — продолжал Рожновский.

У плац-майора была гувернантка, молоденькая девушка. Шла упорная молва, что он состоит с нею в любовной связи и что она, как говорится, держит его в руках. Звали ее арестанты Неткой и боялись как огня: настоящая змея была, под стать плац-майору. Про нее рассказывали, что когда, бывало, секут в кордегардии, то она подходит к замку и слушает крик. Впрочем, я этому не верю. У Нетки были ручные голуби, которых она привезла из России и очень за ними ухаживала. Голуби эти часто залетали к нам во двор и многие из наших зарились на них, но надсмотрщики еще зорче следили, чтобы их не ловили. Один молодой голубь сильно привязался к Достоевскому. Тот кормил его хлебом и си каждый день прилетал к нему за своей порцией. Сначала сторожа восставали против этого, но потом, видя, что Достоевский вреда голубю не делает, начали смотреть сквозь пальцы. Пришлось нам однажды идти обжигать алебастр, а путь лежал мимо плац-майорского дома. Работа эта тяжелая и потому нас отпустили в замок раньше обыкновенного. Поравнялись мы с плац-майорским домом, вдруг, смотрим, Нетка голубей кормит. Достоевскому пришла в голову взбаломшная мысль свистнуть на голубей. Вся стая поднялась на воздух, а голубь Достоевского видно узнал его, подлетел к нему близко и вьется над головой. Нетка выскочила на дорогу и прямо бросилась к Достоевскому.

— Это ты примакиваешь моих голубей, разбойник: постой, я тебе задам!

Не помню, право, что ответил ей на это Достоевский, кажется, сказал, что она хуже бессловесного животного, знаю, что сказал сильную и внушительную фразу. Нетка так и замерла на месте.

Далеко мы уже отошли от плац-майорского дома, а она все стсит; потом, смотрю, закрыла лицо руками и тихо пошла в дом.

Мы все ожидали, что эта вспышка дорого обойдется Достоевскому, между тем ничего, прошло благополучно. Потом недели через две узнаем, что Нетка уехала в Россию вместе со своими голубями, но что всего удивительнее, голубь Достоевского остался и по-прежнему прилетал к нему каждый день. Нарочно ли оставила его Нетка, или он сам от нее улетел — мы не могли узнать. После отъезда Нетки в замке сделалось еще хуже: плац-майор до того разсвирепел, что его не раз удерживали высшие начальствующие лица. Не проходило дня, чтобы в кордегардию не отправлялось несколько человек.

К утру Рожновскому сделалось хуже, что я мог заключить по судорожному сжатию мускулов на лице и прерывистому дыханию.

Рожновский сказал мне адреса родных и я телеграфировал сестре его в Варшаву, а еще некоторым лицам.

От утра целые сутки прошли без особенных перемен, но к вечеру следующего дня больной начал отходить. Часов около 11-ти он слабым голосом прошептал:

— Проститься с ним.

Я быстро набросил пальто и полетел к Достоевскому на квартиру. Там меня не приняли по случаю нездоровья Ф. М. (я, впрочем, предполагаю, что по случаю позднего часа).

К утру Рожновского не стало.

В 10 часов я встретил Ф. М. внизу бульвара у купален и передал ему все здесь рассказанное. Он был, видимо, поражен и взволнован.

— Отчего вы раньше меня не навестили? — спросил он.

Я сказал, что сначала Рожновский сам отказывался от свидания, а потом, когда захотел проститься, то прислуга не допустила меня к нему.

— Так, так! Пойдемте к нему, — проговорил Ф. М.

Мы пришли на квартиру к покойнику. Он уже был одет и обмыт, но лежал на кровати, вследствие малого помещения.

Ф. М. встал на колени, долго смотрел на бледное изможденное лицо страдальца и заплакал...

Я вышел из комнаты.

Уходя, Ф. М. сказал мне, что уезжает в Петербург и потому не может проводить тела при похоронах. Здесь же я спросил у него позволения напечатать слышанное от Рожновского.

— Можете, только после, когда-нибудь, — отвечал он.

Теперь, я думаю, пора пришла. Хотелось мне напечатать эти воспоминания во время поминок, бывших в этом году по Ф. М., но некоторые обстоятельства помешали мне это исполнить.

На похороны приехали какие-то дальние родственники Рожновского, которым я вместе с хозяйкой квартиры и сдал все имущество и бумаги покойного за исключением двух объемистых рукописей, заключающих в себе записки А. Рожновского. Записки эти заключают в себе массу ценного и крайне любопытного материала и завещаны мне покойным с одним условием: я имею право издать их на русском языке после того, как они предварительно появятся на польском****.

Мне тоже не удалось проводить тела покойного: спешное дело внезапно вызвало меня в Москву.

Алексей ЮЖНЫЙ

* * *

Эту статью А. Южного, опубликованную сто лет тому назад в местной газете «Кавказ», я обнаружил в 1967 году и сообщил о ней проживавшему в Ленинграде внуку писателя — Андрею Федоровичу Достоевскому, который очень ревниво собирал материалы, относившиеся к жизни и деятельности своего деда.

Кратко изложив содержание статьи Алексея Южного, я спрашивал А. Ф. Достоевского, известны ли ему приведенные в ней факты из жизни его деда. А. Ф. Достоевский ответил: «Для меня они абсолютно новы»...

Прошло еще некоторое время; скончался и сам Андрей Федорович Достоевский, что им было предпринято, я не знаю. Следы к рукописным материалам А. К. Рожновского по статье Алек-

**** В настоящее время обе рукописи отправлены мною сестре покойного П. К. Войцеховской, урожд. Рожновской (Варшава, Костельная улица, 6). К сожалению, еще много пройдет времени, прежде чем эти записки могут быть напечатаны на русском языке».

сея Южного вели в старую Варшаву, где проживала замужняя сестра А. К. Рожновского — Ц. К. Войцеховская. Видимо, в этом направлении, и это было естественно, А. Ф. Достоевский меревался вести розыски рукописных материалов А. К. Рожновского.

Но старая Варшава в результате минувшей войны была разрушена до основания. Да и прошло немало времени с тех пор. Со своей стороны я сделал попытку раскрыть инициалы А. К. Рожновского и собрать возможно больше сведений о нем.

С этой целью я обратился в Омский архив, где могли храниться материалы омской каторжной тюрьмы за период 1850 — 1854 гг. (годы, в течение которых Ф. М. Достоевский отбывал каторгу в омской каторжной тюрьме), а также в Бюро записей актов гражданского состояния г. Старая Русса, где был похоронен А. К. Рожновский. Однако поиски оказались безуспешными.

Тем не менее не все пути к розыску рукописных материалов использованы.

Следует полагать, что А. Южный — псевдоним. Кто же за ним скрывался?

Можно предположить, что автор статьи проживал в Тбилиси, занимал заметное место на служебной лестнице края, и ему представлялось неудобным выступать в печати под своим именем; он мог быть одним из тех многих петербургских чиновников, которые, переехав служить на юг, на Кавказ, полюбили этот край, ассимилировались здесь. А может быть, и ныне в Тбилиси живут его потомки, сохранившие архив А. Южного, в котором найдется еще немало интересного, связанного с именем Ф. М. Достоевского?

Иван БЕЖАНОВ

ПОСЛЕДНЕЕ

СЧАСТЛИВОЕ

ЛЕТО

ТАКСИ вихрем несет меня в Цхалтубо. Шофер — разбитной паренек — не знает, с кем бы поговорить: он обращается то к одному пассажиру, то к другому и потом, выбрав себе в качестве собеседника курортника, за всю дорогу из Кутаиси не проронившего ни слова, исповедуется: жаль, не стал историком, я бы разыскал много документов о наших разведчиках. Ведь мы так мало знаем о них. К примеру, скажи мне, дорогой, что ты слышал о Маневиче? Представляешь, этот человек десять лет просидел в крепости на одном острове, его мучили, над ним издевались, хотели узнать, кто он такой, но все равно не узнали! Думали, что английский разведчик, и никому в голову не пришло, что он наш, что его послал сам Берзин. Маневич жил в Италии, числился главой какой-то фирмы по торговле оружием. Все секреты вооружения итальянской и германской армий он передавал в Москву. Его выследили, дали десять лет, потом он оказался в Маутхаузене... Где ваш санаторий? Тогда приехали.

Я вышла из машины. Было как-то не по себе: речь шла о моем отце!

Меня часто спрашивают: помню ли я отца, ведь я была маленькой девочкой, когда видела его в последний раз. Да, помню. И как мне кажется, помню хорошо. Детская память очень целая. А когда события выходят из рамок обыденной жизни, они остаются в памяти человека на всю жизнь. Сейчас, попав снова в Грузию, я особенно отчетливо вспомнила

наше последнее счастливое лето, лето, которое наша семья провела под Тбилиси. В тот год отца послали на переквалификацию. Он учился в Академии имени Жуковского, чтобы стать летчиком. Стажировался он в качестве пилота на аэродроме в окрестностях Тбилиси. Нам сняли маленький домик недалеко от аэродрома. В свободное от полетов время отец приезжал к нам. Это были прекрасные, незабываемые дни. Отец тогда уделял мне много времени, занимался со мной немецким языком, бегал по полю, ловил бабочек. Теперь, вспоминая эти подробности, я понимаю, каким жизнерадостным, жизнелюбивым человеком он был. Иногда во время полетов он пролетал над нашим домиком и делал несколько кругов, покачивая крыльями. Я знала — это мой отец.

Моя няня Катя так потрясла своей красотой грузинских парней, что они днем и ночью буквально осаждали наш дом. Вначале белкурой москвичке это очень льстило, но потом дело дошло до серьезного. Чувствуя, что Катя не может отогнать от нашего дома назойливых кавалеров, отец пошел к начальнику отделения местной милиции и взял меня с собой.

— Послушай, товарищ командир, — сказал ему начальник милиции, — я им всем покажу, я их всех от твоего дома стважу. Я их заставлю уважать женщин, но прошу тебя об одном: пусть твоя Катя выйдет за меня замуж.

Отец хохотал всю дорогу до дома. Вместе с ним смеялась и я. Однако в душе я была ужасно горда тем, что на моей милей Кате хочет жениться такой большой начальник да еще обладатель таких огромных усов, каких я никогда не видела.

Да, это было, действительно, последнее счастливое лето...

После нашего возвращения из Грузии отца вызвал Берзин и сказал ему, что переводит его в другое ведомство.

— Ты достаточно часто рисковал своей жизнью, долго жила вдали от семьи, сделал много и теперь имеешь право на спокойную работу. Будешь преподавать.

И отец начал готовиться к новой работе. Прошло несколько спокойных месяцев. И вдруг все резко изменилось. Отца опять вызвал Берзин.

— Я не могу тебе приказывать, — сказал он, — но не тебе объяснять, что такое ось Берлин—Рим и чем это грозит. Необходимо послать в Италию человека, но только такого, который бы знал страну и язык так, как ты, и владел бы также немецким. Кроме тебя, сейчас нет другого человека. Ты имеешь право отказаться. Я даю тебе право выбора.

Он, конечно, прекрасно знал, какой выбор сделает (то друг. И он его сделал тут же, на месте, не думая ни секунды:

— Раз надо, я поеду.

Дема разразилась настоящая буря. Мама плакала навзрыд и говорила, что больше она не останется одна.

— С меня достаточно. Или ты остаешься, или берешь нас с собой. Я устала все время ждать, — говорила она. — Устала бояться за тебя.

Ее, конечно, можно было понять. И тогда вопрос был решен следующим образом: сначала отец едет один, через некоторое время возвращается и забирает нас с собой. Мы будем жить в нейтральной стране, куда он сможет спокойно приезжать, когда позволят обстоятельства, и видеться с нами. Трудность заключалась в том, что мама не знала ни одного иностранного языка. Чтобы как-то обойти это препятствие, было решено, что мы будем жить за рубежом под видом граждан одной из малых стран, которая до революции входила в состав царской России. И нашим родным городом будет один из городов на самой границе с Россией. Таким образом наша русская речь выглядела бы естественной.

МУЖЕСТВЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК

20 февраля 1965 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении полковнику Маневичу Льву Ефимовичу звания Героя Советского Союза (посмертно) «за доблесть и мужество, проявленные при выполнении специальных заданий Советского правительства перед второй мировой войной и в борьбе с фашизмом». В Указе, открывшем советскому народу имя еще одного отважного бойца невидимого фронта, дана краткая по форме, но емкая по содержанию характеристика подвига, совершенных героем.

Его профессиональный псевдоним Этьен и имя Лев Маневич стали такими же известными и близкими нам, как и псевдоним Рамзай, принадлежавший Рихарду Зорге.

Современникам Маневича, встречавшимся с ним, знавшим его в домашней обстановке, по совместной учебе или работе, особенно отрудно чувствовать, что деятельность этого замечательного человека высоко оценена партией и правительством.

Мне довелось три года учиться вместе с Львом Маневичем на одном курсе в Военной академии РККА (ныне Военная академия имени ордена Ленина и ордена Октябрьской рево-



Через некоторое время отец уехал. Мы снова остались одни.

Когда отец бывал в отъезде, он писал маме очень ные, счень подробные и ласковые письма — на этот раз он писал не только ей, он писал и мне. Я прилично знала немецкий язык, и он писал мне по-немецки обо всем, о чем только можно. Он воспитывал меня этими письмами. И — что еще счень интересно — он писал мне сказки с продолжением. Так в письмах он рассказал мне о бременских музыкантах. И очень, счень горько, что все эти письма пришлось сжечь в 1941 году, когда немцы подходили к Москве.

Пришло несколько месяцев. Однажды, возвращаясь с мамой дсмой, мы увидели свет в нашей комнате. Открываем дверь — у письменного стола стоит отец: в своей авиационной синей форме, такой родной и такой любимый. Он приехал за нами.

Я и сейчас очень хорошо помню, как отец готовил меня к этой поездке: спокойно и ласково, приспособляясь к моему детскому уму, он объяснял мне, как много будет зависеть от моего поведения за рубежом. Как важно, чтобы я вжилась в образ той девочки, которую должна была изображать. И как это важно не только для нас, но и для его работы, даже для

люции, Краснознаменная ордена Суворова академия им. М. В. Фрунзе), и я хорошо помню его и сейчас, когда с тех пор прошло уже более полувека.

На учебу в Военную академию РККА Маневич прибыл осенью 1921 года из Высшей школы штабной службы, имея высокий уровень общеобразовательной подготовки, достаточный опыт гражданской войны и партийно-политической работы. В академию его зачислили без экзаменов.

Льва Ефимовича отличали статная фигура, выше среднего рост, умное, доброе и волевое лицо. Он принадлежал к категории запоминающихся людей, одаренных

большими интеллектуальными способностями, был многосторонне развитым, живым и жизнерадостным, энергичным и темпераментным, общительным и приветливым с товарищами, обладал большой работоспособностью.

Лев был скромным и заботливым, непритязательным в быту. Мне вспоминаются отдельные штрихи, характеризующие эти его человеческие качества. У его жены Нади имелись подаренные родственниками еще до замужества два золотых колечка. В 1922 году во время сбора средств в фонд помощи голодающим Поволжья Лев предложил ей сдать их государству, и они оба единодушно это

его жизни. Я в свои восемь лет ясно поняла, что делает мой отец и как тяжела и опасна его работа.

И вот наконец отъезд. Международный вагон, проверка паспортов. В Берлине мы остановились на несколько дней. Там в гостинице произошел маленький эпизод, который мог стоить нам очень дорого. Я, как и отец, ужасно любила петь. Распевала целыми днями. И вот однажды, приплясывая по коридору гостиницы, направляясь к нашему номеру, я распевала песню, которую сейчас не могу вспомнить, но хорошо помню, что она кончалась словами: «Ура, ура, Советская страна». И с этими словами я влетела в номер. Я до сих пор помню побелевшие лица моих родителей. Мама со свойственной ей горячностью начала упрекать меня. Отец же не сказал ни слова упрека. Он долго-долго сидел со мной и объяснял, чего нам может стоить этот маленький и глупый поступок.

Наконец-то мы в Вене, где нам с мамой предстояло жить одним и где отец снял две комнаты в частном доме. Он пробыл с нами несколько дней, водил по городу, показывал красивые дворцы, знаменитый парк Шенбрун. Это были радостные и немного грустные дни, как будто мы чувствовали, что

сделали. Лев и Надя в те годы учились и, так как не с кем было оставлять в их отсутствие маленькую дочку Таню, им пришлось найти для ребенка няню. Молодая семья не располагала лишней кроватью, поэтому возник вопрос о размещении взрослых ночью. По настоянию Льва Ефимовича няня спала на единственном в комнате диване, а он, подстелив под себя шинель, укладывался на полу у батареи. Одевался Маневич аккуратно, но просто, не любил наряжаться и накапливать запасы обмундирования, а если у него появлялось что-нибудь лишнее из одежды, то отдавал ее нуждающимся товарищам.

Круг интересов Льва был обширен: партийно-политическая, учебная, военно-научная, общественная и литературная работа.

Военная академия РККА имела большое влияние на формирование Маневича-разведчика. В ней он получил хорошую политическую и военную подготовку, послужившую базой для раскрытия в нем необходимого в последующей работе таланта.

Разведывательная деятельность полковника Маневича протекала в 20—30-е годы во многих государствах Западной Европы, а преимущественно в Германии, Италии, Испании, где фашизм рвался или уже пришел к власти и

приближается разлука и, как потом оказалось, разлука на-
всегда.

Уезжая, отец обещал приехать как можно скорее. Его последние слова были:

— Надя, будь осторожна. Береги себя и Татусю. Мне кажется, что квартирная хозяйка знает русский язык...

Я могла бы и не рассказывать о нашем пребывании в Вене, но меня до сих пор не оставляет мысль, что, может быть, наша неудачная жизнь там в какой-то мере способствовала тому, что отец был арестован...

Все-таки то обстоятельство, что мы ни разу не произнесли ни одного слова на языке той страны, паспортами которой пользовались, могло показаться подозрительным. Да и я время от времени делала ляпсусы, которые опытному человеку могли многое сказать. У меня была учительница, готовившая меня к поступлению в австрийскую школу. Эта фрейлейн проводила со мной довольно много времени и несколько раз брала с собой в лютеранскую церковь, обряды которой значительно отличаются от обрядов православной церкви. С последней я была несколько знакома, так как напротив нашего дома в Москве была церковь, в которую мы с ребятами иногда заглядывали. Поэтому, конечно, после посещения

не скрывал своих агрессивных целей в отношении единственного тогда в мире социалистического государства — Советского Союза.

Этьен, работая в то время за границей под видом австрийского предпринимателя-инженера Конрада Кертнера, с большим умением добывал и регулярно передавал в Москву ценнейшие сведения о вооруженных силах, технических секретах, экономике, военном — промышленном потенциале фашистских государств, готовившихся к войне против СССР.

Даже после своего ареста, находясь в фашистских тюрьмах Муссолини и гитлеровских концентрационных лагерях смерти, он оставался в

строю, был бессменным часовым за рубежами своей Родины.

Из тюрьмы трудными и сложными путями от него продолжали поступать в Центр важные разведывательные данные, а в немецких концлагерях он являлся одним из руководителей подпольного движения Сопротивления.

Этьен умер 9 мая 1945 г., когда ему было всего лишь неполных сорок семь лет.

Не подвиг, а подвиги совершил герой, длившиеся не секунды, не сутки, а многие и многие годы его трудной работы, сопряженной с постоянным риском для жизни.

Борис ВЕРЕНИКИН,
полковник в отставке

лютеранской церкви я начала расспрашивать свою юную фрейлейн о таких подробностях священного писания, которые девочка моего возраста, воспитанная в верующей семье, должна была бы обязательно знать.

— Фрау Мария, — спросила она однажды маму, — почему ваша дочь ничего не знает о жизни Христа?

Что могла ответить моя мать?

— Боже мой! — изумленно воскликнула дочь нашей квартирной хозяйки, входя к нам в комнату, — почему ваша дочь пьет чай из блюдца?

Казалось бы, пустяк, но чай из блюдца пьют только в одной стране — в России.

Вскоре за нами установилась слежка. Через некоторое время я уже знала в лицо приставленных к нам агентов.

— Посмотри, не идет ли кто за нами, — говорила мама.

Я бросала мячик назад, бежала за ним и смотрела, кто сегодня к нам приставлен. Однажды мама задержалась в магазине, и я возвращалась домой одна. Вдруг на другой стороне улицы я заметила человека, который собирался меня сфотографировать. В те времена еще не было фотоаппаратов, которыми можно было бы сфотографировать скрытно. Я повернулась к нему спиной, делая вид, что разглядываю игрушки в витрине магазина. Потом быстро побежала домой, где со мной началась самая настоящая истерика. Квартирная хозяйка стала расспрашивать, что случилось. Я соврала, что у меня очень болит голова. Маме я категорически заявила, что больше здесь жить не буду. Я хочу домой.

Несколько раз к нам приходили люди в штатском, долго и подробно расспрашивали об отце. Мне было известно, что таких людей надо бояться гораздо больше, чем полицейских в форме. Беда заключалась в том, что все пояснения должна была давать я: мама, хотя и занималась немецким, на такие объяснения способна еще не была. По-немецки я говорила свободно, но встречались такие выражения, которые я просто не могла объяснить. Например, что мой отец инженер деревообрабатывающей промышленности. Дрожащими руками я листала словари, пытаюсь найти там какие-нибудь подходящие слова — дерево, лес. Конечно, надо полагать, что все это звучало очень неубедительно. Положение становилось критическим. Сообщить отцу о нашем положении мы не могли. Мы должны были просто ждать, когда он к нам приедет. А чем закончится этот приезд — было не ясно...

Но помог случай. Однажды, когда мы с мамой направились на нашу обычную прогулку, мы встретили женщину, которой были знакомы в Москве. Сейчас она работала в одной из советских организаций. Мама рассказала ей о нашем положении, она обещала помочь нам, и они договорились о следующей встрече. В тот день, когда мы должны были опять встретиться с ней, шел проливной дождь. Агент проводил нас только до магазина, в который мы зашли под предлогом каких-то покупок. В парке наша знакомая передала нам деньги, билеты и приказ: немедленно выезжать домой. Обрат-но мы ехали снова через Берлин.

И в этом городе случилось небольшое, но несколько странное происшествие. В спешке мы забыли в гостинице один из чемоданов. Так как мы заказали такси с таким расчетом, чтобы приехать на вокзал за несколько минут до отхода поезда, то возвращаться за чемоданом времени не было. Предполагалось, что в гостинице никто не знает о том, куда мы едем и с какого вокзала. И тем не менее, когда поезд уже тронулся, в окно кто-то просунул наш чемодан.

И вот опять дорога, границы, проверка паспортов, которую мы с мамой, теперь уже наученные горьким опытом, ждали с большой тревогой. Где-то на середине пути к нам в купе сел человек, отрекомендовавшийся инженером, который едет на работу в Советский Союз. Через некоторое время он стал просить меня сказать несколько слов на языке страны, паспортами которой мы пользовались. Я не знала ни слова. До сих пор помню, как неловко я себя чувствовала. В конце концов мне пришлось произнести какой-то набор бессмысленных звуков. Но было уже Негорелое, наша граница, красноармейцы на сторожевой вышке. Мы были дома. Это было счастье — слышать вокруг родную речь.

Тревога за отца — теперь уже осознанная и подкрепленная собственными переживаниями — все время жила в моей душе. Маме было безусловно во много раз тяжелее. Тянулись месяцы ожидания. Прошел год. Потом второй. Начались события в Испании. Мы все жили этим. По некоторым мелким фактам, по недомолвкам я поняла, что многие товарищи отца сражаются в рядах республиканской армии. Я сообразила, что Берзин, который вдруг надолго исчез, тоже в Испании. Ясно, что и отец не мог оставаться в стороне от этих грозных событий. Тревога за него росла. А он писал нам все такие же

длинные и ласковые письма. Однако через некоторое время мама стала улавливать в письмах отца какие-то тревожные нотки. Нет, он не жаловался. Он не писал ей ни о чем, что могло встревожить ее. Но любящее сердце трудно обмануть. Мама была права: над отцом сгустились тучи. Ко дню моего рождения он прислал мне свою фотокарточку, где он снят на фоне какого-то прекрасного итальянского пейзажа. Стоит улыбаясь, сдвинув набекрень шляпу. Беззаботный и веселый. Но мама писала ему:

«Лева, улыбка твоя на фотокарточке фальшивая, не твоя. Что-то происходит. Я чувствую, что тебе что-то грозит».

Отец уже писал Берзину, что все время чувствует на себе чье-то пристальное внимание, чувствует надвигающуюся опасность и ему необходима замена.

— Мы готовим тебе замену, — отвечал Берзин. — Но, если ты уверен, что твое пребывание в Италии опасно, уезжай в Швейцарию.

Но отец не мог уехать, не дождавшись замены. Не хотел прерывать с таким трудом налаженные связи. Он понимал, как необходима и нужна Родине его работа.

Можно верить или не верить в телепатию, в некое шестое чувство, особенно развитое у нервных людей. Но факт остается фактом. В тот день, когда разразилась гроза, мама не находила себе места. Она не спала всю ночь и утром, придя на работу, сразу заторопилась к заместителю начальника управления... Едва переступив порог, спросила:

— Что слевой?

— Кто тебе сказал? — ответил он вопросом на вопрос.

Отец был уже арестован. Скоро и я узнала о случившемся. Потянулись месяцы ожидания, складывавшиеся в годы. Мы переходили от надежды к отчаянию и опять к надежде. То отцу готовили побег, и мы его ждали со дня на день. То он должен был попасть под амнистию, но почему-то его все равно не выпускали.

Шли годы. Однажды маме передали крошечный листок папиросной бумаги с несколькими словами, написанными отцом. Этот листок сумел вынести из тюрьмы товарищ отца по заключению, итальянский коммунист Альбино Калетти, или Бруно, под именем которого он был известен в годы Сопротивления, командуя партизанской дивизией в составе знаменитой бригады имени Гарibaldi. Когда Бруно был освобожден из заключения, он сумел связаться с советским посольством и передать записку отца. И впоследствии он много сделал,

чтобы облегчить участь человека, которого считал своим учителем и память о котором свято хранит до сих пор. Забегая несколько вперед, скажу, что как только Бруно приехал в Советский Союз, а случилось это в конце пятидесятых годов, он начал разыскивать нас с мамой. И ему удалось это, несмотря на то, что он не знал настоящего имени отца. Он стал нашим большим другом, и всякий раз, когда ездит в Грузию через Москву — а бывает там он почти каждый год — заходит к нам. В Грузию Бруно ездит к своим боевым друзьям. Во время войны немцы создали из пленных грузин боевые части, надеясь, что они будут хорошо воевать против партизан в итальянских Альпах. Но этого не произошло: они перешли на сторону партизан, и большинство воевало в партизанской дивизии, которой командовал Бруно.

Все эти годы, о которых я сейчас рассказываю, мы с мамой, щадя друг друга, очень редко говорили об отце. Каждая несла свое горе в одиночку.

Товарищи и начальники отца говорили:

— Ты можешь гордиться своим отцом. Он ведет себя в тюрьме так, что его уважают и любят не только его товарищи по заключению, его уважают и побаиваются тюремщики. Он умеет работать и остается настоящим коммунистом и борцом даже в заключении.

Да, я гордилась отцом. Но свое горе, свою боль, тревогу и гордость за него мне не с кем было разделить. Я не имела права говорить о нем. Если мне, ребенку, было так невыносимо тяжело, то как же должна была страдать моя мама, которая так любила отца! Она потом рассказывала, что была на грани психического расстройства. Что ей пришлось пережить, я поняла до конца, только став взрослой.

Весной 41-го года я была на приеме у чудесного человека, у начальника отца генерала Панфилова. И тогда он мне сказал:

— Я тебе обещаю, что твой отец через несколько месяцев будет дома. Мы ведем через нейтральную страну переговоры об обмене его на человека, в котором итальянское правительство очень заинтересовано.

Я летела домой на крыльях. Мы с мамой почему-то сразу поверили этим словам. Так твердо и так убежденно они были сказаны. И, очевидно, так оно и было бы...

Июнь сорок первого. Началась война. Генерал Панфилов ушел на фронт. И все связи с отцом были потеряны.

Тяжелые кровавые годы переживала страна. Пожалуй, не было семьи, которая не понесла бы утраты. И наше горе растворилось в общем горе страны.

Мы были уверены, что если даже отца и не расстреляли, то вряд ли его истощенный продолжительным заключением организм мог столько выдержать.

Но судьба готовила нам еще одно тяжелое испытание. Прешло несколько месяцев после прекрасного дня Победы и неожиданно мы узнали, что последние годы жизни отец провел в фашистских лагерях Маутхаузене и Эбензее и умер после того, как американцы освободили лагерь, — умер уже свободным человеком, так и не увидев Родины. Мысль о том, что от его смерти нас отделяло всего несколько месяцев, была невыносима. Но еще кошмарней была мысль о том, что он после всех тяжелых испытаний, выпавших на его долю в тюрьме, еще должен был пройти все ужасы фашистских концлагерей. Уже смертельно больной, он находил в себе силы быть одним из руководителей движения Сопротивления в лагере.

Когда отца познакомили с одним из узников, который собирался стать участником Сопротивления, отец как гостеприимный хозяин отдал ему свою порцию — маленький кусочек хлеба с крошечным кусочком селедки. О том, какие муки голода испытывали все узники фашистских лагерей, известно всему миру. Так что мне не нужно пояснять значение этого небольшого эпизода, который в тех условиях был подвигом.

Даже умирая, отец никому не сказал своего настоящего имени.

— Передайте в Москву: я — Этьен.

Это были его последние слова товарищам. Меня это потрясло не только потому, что это был мой отец, а еще и оттого, что по-человечески трудно представить себе, как, прощаясь с жизнью, он оставался разведчиком, верным законам конспирации. Каким же мужеством и каким невероятным чувством долга должен был он обладать!

Прошло двадцать лет. Как-то февральским вечером 1965 года в нашей квартире раздался звонок. На пороге стоял незнакомый майор.

— Я из редакции «Красной Звезды», — отрекомендовался он.

Стараясь скрыть свое удивление, мы пригласили его в комнату, и он начал нас подробно расспрашивать об отце.

Судя по его вопросам, он был хорошо осведомлен о судьбе Льва Маневича. Мы с мамой были потрясены. После стольких лет молчания вдруг такая неожиданность. И почему? Когда майор уже собрался уходить, я все-таки рискнула его спросить:

— Скажите, а почему вдруг вас так заинтересовала судьба моего отца?

Майор явно растерялся.

— Как, — сказал он, — разве вы ничего не знаете? Ведь было решение Верховного Совета о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Может быть, я не должен был вам этого говорить. Вы лучше пока об этом никому не рассказываете...

— Конечно, мы никому ничего не расскажем. За нашу жизнь мы научились молчать...

На следующий день была суббота, и я допоздна задержалась в гостях. Когда я пришла, мама первым делом спросила меня:

— Ты ничего не слышала по радио? Только сейчас передавали о папке! (Она так его всегда называла.) Передавали о присвоении ему звания Героя Советского Союза... по-смертно...

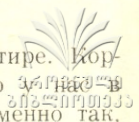
— Ты не ошиблась?

— Да нет, Лев Ефимович Маневич, полковник. Нет же другого такого.

Утром вбежала запыхавшаяся, взволнованная соседка.

— Надежда Дмитриевна, Таня, поздравляю от всей души, поздравляю! — И подала мне «Правду», в которой было напечатано постановление Верховного Совета СССР о присвоении по-смертно звания Героя Советского Союза советскому разведчику полковнику Льву Ефимовичу Маневичу. И статья «Герои не умирают», посвященная моему отцу. В этот день двери нашей квартиры не закрывались. Люди шли и шли — знакомые, друзья. Поздравляли, радовались вместе с нами. Без конца приносили телеграммы. Откликнулись люди, с которыми, как казалось, уже давно утрачены связи. Приехали корреспонденты Московского радио, рассматривали фотографии, спрашивали об отце. Это был светлый день. Это была как бы встреча с отцом.

В тот вечер мы и все наши друзья в выпуске последних известий по Московскому радио слушали ту запись, которую



корреспонденты сделали в этот день в нашей квартире. Корреспонденты сумели передать атмосферу, царившую в этот незабываемый день. Все это было сохранено именно так, как было.

Последующие дни наш дом осаждали корреспонденты центральных газет, корреспонденты из городов, в той или иной степени связанных с именем отца. Потом было выступление по телевидению, во время которого вместе с нами плакала вся студия...

И наконец — Кремль. Вручение грамоты о присвоении отцу посмертно звания Героя Советского Союза. Речь Анастаса Ивановича Микояна, который, как оказалось, командовал тем соединением, в котором отец воевал на Кавказе в гражданскую войну. Наконец-то мы могли говорить об отце открыто. Говорить все, что мы помним, и все, что знаем.

Шли письма от пионерских дружин, комсомольских организаций, от воинских частей и просто от незнакомых людей, которых глубоко тронула судьба отца. Неожиданно откликнулись и друзья его юности. Мы получили письмо от Якова Семеновича Блудова, профессора Харьковского университета, который в годы гражданской войны работал вместе с отцом в политстделе Самарской железной дороги. Он прислал нам свои воспоминания о тех днях и об их дружбе. Откликнулся товарищ отца по учебе в академии полковник в отставке Борис Николаевич Вереникин. Нашлись многие бывшие узники немецких концлагерей, знавшие отца под именем полковника Старостина.

Все это заново всколыхнуло воспоминания об отце. Но я всегда стараюсь представить его себе таким, каким он был в то счастливое солнечное лето в Грузии, когда мы так радовались жизни, не зная, какие испытания готовит нам судьба.

КРУПНЫЙ советский писатель С. М. Третьяков сделал немало для развития советского кино, в особенности грузинского. Но его работа в кинематографе почти не освещена в нашем искусствоведении.

Сергей Михайлович Третьяков (1892 — 1939) — талантливый поэт, драматург, публицист, очеркист — один из активных строителей и пропагандистов советской культуры. Он был соратником В. В. Маяковского по Лефу, его пьесы ставили В. Э. Мейерхольд и С. М. Эйзенштейн, а сценарии — Н. М. Шенгелая, М. Э. Чиаурели и М. К. Калатозов. Некоторые из крупных очерков Третьякова, а также его пьесы и статьи о театре переизданы у нас и выходят за рубежом; появляются работы о нем советских и иностранных исследователей.

Но сценарии Третьякова не опубликованы¹. Около пятидесяти его статей о кино рассеяно по различным газетам и журналам 20-х и начала 30-х годов и забыто. Нет ни одной, даже небольшой работы о Третьякове — кинодраматурге и кинокритике, о

Александр ФЕВРАЛЬСКИЙ,
Ирина РАТИАНИ

С. М. ТРЕТЬЯКОВ И ГРУЗИНСКОЕ КИНО

¹ За исключением одного («Элисо»), который напечатан без указания его фамилии.

его участия в становлении советской кинематографии.

Пора вспомнить о Третьякове — кинематографическом деятеле и деятеле.

Возвратившись в 1922 году в Москву с Дальнего Востока, Третьяков сразу активно включился в художественную жизнь столицы. Он стал деятельным участником группы Леф, возглавляемой В. В. Маяковским, писал агитационные стихи, писал пьесы и участвовал в их постановках. Он живо откликался на все новое и сам энергично искал новые пути в искусстве. Увлекаясь новыми начинаниями, он боролся за них с энтузиазмом.

В 1925 — 1926 годах он был заместителем председателя художественного совета первой кинофабрики Госкино и много помогал кинематографистам, выступал со статьями о кино.

Он принялся за работу над собственными киносценариями. Основная деятельность его как кинодраматурга связана с Госкинопромом Грузии. В декабре 1926 года он несколько дней был в Тбилиси, а затем во второй половине марта снова приехал сюда и пробыл в Грузии до начала октября 1927 года.

Как сообщала «Заря Востока», «т(ов.) Третьяков приехал по вызову Госкинопрома Грузии в связи с переговорами о постановке некоторых его сценариев. Кроме того, он принял на себя консультационную работу в разрабатываемом Госкинопромом сценарном плане»².

Наряду с кинематографической деятельностью Третьяков провел в Тбилиси несколько выступлений на литературно-общественные темы. Так, 1 апреля на собрании русской секции Тифлисской ассоциации пролетарских писателей он сделал доклад о Лефе, о его новаторских устремлениях. «Леф, — говорил он, — выдвигает в искусстве работу над определенными конкретными задачами настоящего. Центр тяжести Леф стягивает к публицистике, где все подчинено широкому общему интересу»³. Пропаганде идей Лефа был посвящен и публичный доклад «Враги и союзники Лефа», прочитанный Третьяковым 21 сентября во Дворце искусств. Это выступление носило более широкий характер; основным содержанием доклада, по определению газетного отчета, было: «Каковы задачи и пути искусства и в чем они заключаются в настоящий момент»; докладчик подчеркивал «утилитарно-производственные задачи искусства»⁴.

² Сергей Михайлович Третьяков в Тифлисе. «Заря Востока», 1927, 23 марта.

³ За что ратует Леф. «Заря Востока», 1927, 2 апреля.

⁴ Друзья и враги Леф. «Заря Востока». 1927, 23 сентября.

Разумеется, Третьяков и его товарищ по Лефу В. Б. Шкловский, также приехавший в Тбилиси для помощи работе Госкинопрома (он консультировал его деятелей и в той или иной форме участвовал в создании сценариев, по которым были поставлены фильмы), вошли в тесный контакт с тбилискими лефовцами; многие лефовцы вскоре заняли видное место в грузинской литературе и кинематографии. Один из них, Лео Эсакиа, писал в московском журнале «Новый Леф» в статье-корреспонденции из Тбилиси: «Сдвиг местных левых во многом обязан нашим товарищам из московского Лефа С. М. Третьякову и В. Б. Шкловскому, которые в бытность в Тифлисе сделали несколько докладов огромнейшего значения на разные литературные и кинематографические темы»⁵.

Выступил Третьяков с публичным докладом и на непосредственно кинематографическую тему. Доклад, прочитанный 2 апреля в Доме работников просвещения, назывался «Семь смертных грехов кинематографии». Третьяков говорил, что наше кино молится «двум несовместимым «богам» — кассовому и классовому [...]. Но в итоге борьбы двух богов победителем обыкновенно выходит «бог кассовый», ибо из 200 выпущенных советских фильмов более 20 идеологически выдержанных фильм насчитать нельзя. «Хозяева» наших киноорганизаций невежественны. Они в большинстве случаев совершенно незнакомы с той работой, которой руководят [...]. Все режиссеры похожи друг на друга [...]. Режиссеров-«реалистов», умеющих заставлять «играть» вещи, исключая Эйзенштейна, у нас почти нет [...]. Среди операторов мы имеем много фотографов и мало кинематографистов [...]. В большинстве случаев сценарии представляются неграмотные». Досталось от докладчика и зрителям: «К каждому герою публика подходит с точки зрения, насколько он (она) красив»⁶.

Третьяков правильно указал на ряд тогдашних недостатков нашей кинематографии, но, как это представляется из газетного отчета о его докладе, общая картина получилась чересчур уж мрачная.

⁵ Левое движение в искусстве Грузии. Журнал «Новый Леф», М., 1927, № 10, с. 46.

⁶ Ант. Б. «Семь смертных грехов нашей кинематографии». (На докладе С. Третьякова, 2 апреля). «Заря Востока», 1927. 5 апреля.

Под конец докладчик коснулся деятельности Госкинопрома Грузии, который, по его мнению, «грешит теми же недостатками, как и всякая киноорганизация. Несчастье Госкинопрома в том, что он превратился в магазин, торгующий «восточными красотами», экзотикой...». Положительно отзывался Третьяков о госкинопромском фильме «Гюлли», в котором «режиссеры Шенгелая и Пуш на производственном фоне использовали местный колорит...»⁷.

Общая оценка Третьяковым продукции Госкинопрома была близка к истине. Грузинская киноорганизация, начавшая свою работу рядом удачных экранизаций произведений грузинских классиков и таким отличным фильмом, как «Красные дьяволята», в дальнейшем снизила качество своих картин. Многие работники Госкинопрома в погоне за доходами пошли на поводу у смешанного зрительного зала периода нэпа. Непомерно большое место в кинопродукции заняли приключенческие фильмы, из которых все более выветривалось идейное начало. Если действие таких картин приурочивалось к современности, то признаки советской действительности обычно оказывались чисто внешними. Дешевый мелодраматизм и слащавая экзотика преобладали во многих кинолентах.

Грузинское кино должно было по-настоящему обратиться к проблемам советской жизни. Определилась необходимость появления новой драматургии и выработки новых методов.

Эти задачи были ясны кинематографистам-новаторам, в том числе Третьякову. Работая в Госкинопроме, как и до этого в Госкино, он стремился поставить кино на службу революции, помочь ему преодолеть кинематографические штампы, мешавшие увидеть и показать подлинную жизнь страны.

Романтическим сюжетам из прошлого, как правило, идеализированного, Третьяков хотел противопоставить показ реальной жизни Советской Грузии, ростки нового, преодоление пережитков.

Такие намерения Третьякова вполне отвечали установкам нового руководства Госкинопрома.

Третьяков не ограничивался работой над игровыми фильмами. «По его программе в 1927 году на Госкинопроме Грузии был создан сектор документального кино, выросший впоследствии в Тбилисскую студию документальных и научно-популярных фильмов. Выступал Третьяков и в кинолектории для молодых кинорботников, существовавшей при Госкинопроме [...]. Не сохранились многочисленные письма Третьякова к мастерам Госкинопрома, в которых он подводил итог мыслям, вырвавшимся из его собствен-

⁷ Там же.

ного труда в искусстве, обращенным в настоящее и будущее, строил планы, советовал, не только проявляя живейшую заинтересованность всем, что касалось национальной кинематографии, но и постоянно участвуя в ее жизни»⁸.

Сергей Михайлович быстро нашел общий язык с молодыми грузинскими кинематографистами, близкими ему своими поисками. Это были литераторы, начинавшие работать в кинематографии, — Николай Шенгелая, Лео Эсакиа, Георгий Мдивани, Акакий Белнашвили, Давид Рондели, Михаил Калатозишвили (Калатозов), Шота Манагадзе, Владимир Мачавариани, Шалва Алхазншвили. В дальнейшем они играли ту или иную (подчас очень значительную) роль в грузинской кинематографии. Одушевленные стремлением помочь созданию социалистической Грузии, сказать новое слово в искусстве, они находились под влиянием поэзии Маяковского. Многие из них лично познакомились с ним. Так, в 1924 году, в первый послереволюционный приезд Маяковского в Тбилиси, не раз встречался с ним поэт Николай Шенгелая, в то время еще не работавший в кинематографии. Несомненно, что общение с Маяковским немало дало не только поэтической, но и кинематографической молодежи. Теперь молодые кинематографисты, общаясь и сотрудничая с соратником Маяковского Третьяковым, узнали от него много ценного.

В Грузии у Третьякова возник ряд сценарных замыслов.

Вначале намечалась постановка фильма «Рычи, Китай!»; сценарий по своей пьесе должен был написать Третьяков, а ставить фильм — А. И. Бек-Назаров. Однако фильм поставлен не был.

В связи с подготовкой сценария «Слепая» Сергей Михайлович совершил путешествие в Верхнюю Сванетию, что при тогдашнем бездорожье было делом отнюдь не легким. Эта поездка дала ему материал для ряда очерков, опубликованных в «Правде», в «Заре Востока», в журналах, и для книги «Сванетия», вышедшей в издательстве «Рабочая Москва» в 1928 году.

Был, по-видимому, написан, но не сохранился сценарий Третьякова «Последний деканоз», действие которого происходит в Хевсуретии в советское время. Однако и этот фильм не был поставлен.

Имеются краткие сведения о сценариях, задуманных Третьяковым для Госкинопрома, но не написанных: «Мужеловка» (ко-

⁸ Церетели К. Николай Шенгелая. М., изд. «Искусство», 1968, с. 28.

медия из китайской жизни), «Возвращение меньшевика в Грузию», «Водоворот» (главное действующее лицо — река), «Герои нашего времени» (о высокоурожайных сельскохозяйственных турах), «Юна» (тему сценария установить не удалось).

Сценарий «Паровоз Б-1000» (другое название «Паровоз С-1000») — это, по определению журнала «Новый Лэф», «биография паровоза от довоенных времен до дня десятилетнего юбилея Октября, когда макет «заслуженного деятеля пара и колеса» — паровоза прошел по демонстрирующим улицам Москвы»⁹. В газетном объявлении была дана такая аннотация: «Паровоз и Николай II. Паровоз и Ленин. Хлеб и хлопок. 26 бакинских комиссаров. Паровоз и бронепоезд»¹⁰.

13 августа 1927 года представитель Госкинпрома Грузии в Москве заключил с режиссером Л. В. Кулешовым договор на постановку «Паровоза Б-1000», и через день Кулешов с артисткой и сопостановщиком А. С. Хохловой выехал в Тбилиси. Работе Третьякова Кулешов дал высокую оценку: впоследствии он писал об отличном историко-революционном сценарии Сергея Третьякова «Паровоз Б-1000»¹¹; авторами окончательного сценария стали Третьяков и Кулешов, — как это часто бывает, режиссер дополнил и обогатил работу драматурга.

А. С. Хохлова в беседе с нами сообщила, что операторами фильма были П. К. Новицкий и начинающий грузинский оператор М. К. Калатозов, художником — А. М. Родченко. Фотоснимки делал молодой Р. Л. Кармен.

Съемки фильма велись в различных местностях Грузии. В октябре Кулешов возвратился в Москву. 7 ноября снимали движение паровоза (макета) по Красной площади во время демонстрации, а в декабре, на двадцатипятиградусном морозе, — проезд паровоза по снегу в деревню Верхние Котлы. В январе 1928 года съемки снова происходили в Грузии, но затем были прекращены.

Первым фильмом, созданным в Госкинпроме при участии Третьякова, была экранизация повести Александра Казбеги «Элисо». Авторами сценария были Третьяков и постановщик фильма Николай Михайлович Шенгелая.

Напомним, что писатель рассказывает о любви девушки-чеченки Элисо и молодого грузина-хевсура Важиа; перипетии этой любви происходят на фоне насильственного выселения чеченцев

⁹ «Новый Лэф», 1927, № 10, с. 40.

¹⁰ Газета «Кино», М., 1927, 18 октября.

¹¹ Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. М., изд. «Искусство», 1975, с. 117.

из родных мест и переселения их в Турцию, предпринятого представителями царского самодержавия в 1864 году. Этот сюжет предстал в фильме в несколько ином обличье, чем в повести.

Н. М. Шенгелая писал о работе Третьякова и своей над ним работе:

«Нашей целью не было дать киноиллюстрацию «Элисо» Александра Казбеги. Нас заинтересовала идея, заложенная в «Элисо». Это выявление угнетательской политики старого режима и ее последствий.

Когда мы приступили к подготовке сценария и к изучению Чечни, выяснилось, что Казбеги ради художественного вымысла отошел от исторической действительности колониальной политики или, вернее, не смог правильно осветить ее. Тогда мы начали знакомиться с историческими документами в секретном архиве начальника Терской области (этот архив только после революции стал доступным) и со многими другими материалами.

После ознакомления с материалами мы совершенно изменили драматическую коллизию «Элисо». Мы усилили в сценарии действия масс и обрисовку их положения. Мы ослабили фабулу и перенесли центр тяжести сюжета в глубину общественных явлений»¹².

Выступая на обсуждении «Элисо» в Москве, в Обществе друзей советской кинематографии, Шенгелая сказал: «т. Третьяков переключил бывшие в произведении субъективные переживания героев на социальные моменты, ослабив индивидуальную романтику действующих лиц до минимума»¹³.

Третьяков и Шенгелая глубоко заглянули в эпоху, обрисованную Александром Казбег, широко раздвинули рамки показанных в его произведении социальных отношений и подчеркнули характерные для повести героические черты. На первый план выступила народная трагедия — страдания мужественных, но бессильных в данных условиях горцев, лишаемых родины. Главным героем стал народ, жители чеченского аула. Образ народа постепенно вырастал из показа главных действующих лиц и многочисленных эпизодических персонажей. Природная честность и доверчивость примитивно мыслящих детей гор в условиях за-

¹² Шенгелая Н. Несколько предварительных замечаний о картине «Элисо». Журнал «Мемархенеоба», Тбилиси, 1928, № 2, с. 57.

¹³ Л. Вакс. В Обществе друзей советской кинематографии. «Элисо». Газета «Кино». М., 25 сентября.

хвратнических действий российского царизма становятся причиной их несчастий. Непосредственные и страстные горцы в своем самолюбии проявляют подлинное мужество и сплоченность. Род, изгоняемый из родных мест, подвергаемый бесконечным оскорблениям и мучениям, внешне подчиняется врагу, но внутренне остается непокоренным.

Через семь лет после создания сценария Шенгелая вспомнил о нем: «...в «Элисо» столкнулись три человека, причем один, Александр Казбег, был глубоким реалистом, двое, я и Третьяков, приверженцами лефовской теории. А. Казбег повлиял на Третьякова и в большей степени на меня. Силою своего таланта, глубиной образов своих Казбег поставил меня, представителя Лефа в поэзии, на реальную почву [...]. Опираясь на опыт Третьякова как драматурга, автора «Рычи, Китай!», я сумел получить при работе над сценарием «Элисо» не фрагментарный сценарий, а сценарий, построенный по всем законам драматургии. Этим-то, по-моему, в значительной степени и объясняется успех фильма»¹⁴.

В сценарии можно проследить черты, связывающие его с театральной драматургией Третьякова — с «Землей дыбом», «Слышишь, Москва?!», «Противогазами», «Рычи, Китай!», «Хочу ребенка». Это прежде всего четкая общественно-политическая установка и стремление превратить произведение в драматургическое оформление подлинных событий. Пусть в своих выступлениях в печати Третьяков в некоторой степени абсолютизировал факт как первооснову литературы — здесь документализм пошел на пользу сценарию: фильм открывается титрами, воспроизводящими (даже по старой орфографии) переписку между командующим войсками Терской области и представителем наместника Кавказа о выселении чеченцев в Турцию, и этим сразу вводит зрителя в сердцевину сюжета.

Близость сценария к пьесам Третьякова сказывается в лаконизме диалога (надписей) и других выразительных средств, в умении простыми и сильными приемами создавать острую напряженность действия. Сдержанная страстность, отмечающая творчество Третьякова, в соединении с открытым, бурным темпераментом Шенгелая наложили свой отпечаток на сценарий и на самый фильм «Элисо».

Сюжет повести был в целом сохранен, однако осмыслен по-новому: трактовка опиралась на раскрытие внутренней социаль-

¹⁴ Шенгелая Н. Работать дружно. «Литературная газета», М., 1935, 15 января.

ной глубины произведения Казбеги. Для грузинской кинематографии это был новый подход к экранизации классического произведения, его переосмысление в свете идей новой эпохи. Аналогичным подходом была отмечена работа Мейерхольда над постановками пьес русских классиков. Мейерхольд всегда исходил из идейной установки писателя, но заострял ее, политически усиливал, подчеркивал те социально-прогрессивные тенденции, которые особенно близки советским людям.

Если мы вспомним о тесном сотрудничестве Третьякова с Мейерхольдом, о том, что Государственный театр имени Вс. Мейерхольда гастролировал в Тбилиси в 1927 году с «Рычи, Китай!» и с другими спектаклями, и о большом и благотворном влиянии Мейерхольда на все советское искусство, то будет справедливо указать на идейную связь «Элисо» с принципами Мейерхольда. Недаром вскоре после выхода этого фильма на экран московская киноорганизация «Межрабпом-фильм» предполагала начать съемки картины «26 комиссаров» в постановке Шенгелая под общим руководством Мейерхольда (однако эту ленту Шенгелая ножом поставил самостоятельно и в другой киноорганизации).

В «Элисо» уже не было той экзотики, которой окрашены многие более ранние фильмы Госкинпрома и которую осуждал Третьяков. Ее заменила жестокая правда: трудный и суровый быт горцев, их полная страданий жизнь под гнетом приспешников самодержавия. Картины издевательств над простыми и благородными людьми контрастно оттенялись воплощенной на экране вечной красотой величественных вершин Кавказа и глубоко волновали зрителей чувствами гнева и протеста против угнетения человека. Драма маленького народа вырастает до большой человеческой трагедии. Для картины характерны художественная правда, убедительность и простота построения.

Фильм захватывал зрителя глубоким знанием психологии людей, романтической одухотворенностью, неотделимой от реалистического изображения действительности, новым кинематографическим языком, стройной композицией, драматическим накалом, великолепно построенными массовыми сценами. Все это вместе с поэтичностью образов, новаторским применением монтажа, высокой изобразительной культурой (которой фильм во многом был обязан оператору В. Кереселидзе и художнику Д. Шеварднадзе) поставило «Элисо» в ряд лучших произведений советского немого кинематографа.

Удача фильма свидетельствовала о благотворном сдвиге, происходившем в грузинской кинематографии. И заслуга в этом, наряду с Шенгелая, принадлежала Третьякову. Это отмечено в частности, газета «Кино»: «Сценарий Третьякова сделан хорошо и с правильным расчетом на отношение к материалу. Он дал крепкую основу «Элисо»¹⁵.

Одним из результатов поездки Третьякова в Верхнюю Сванетию был сценарий «Слепая».

Героиня сценария (имя ее не названо) — слепая девушка, приемщица в богатом сванском семействе. Простая фабула дает писателю возможность показать и страшную отсталость людей далекого горного края, и ростки того нового, что принесла им Советская власть. Сценарий во многом перекликается с очерками Третьякова о Сванетии. Там — описание увиденного им в этом крае, здесь — кинематографический образ, действие.

В отличие от других сценариев, авторами которых были Третьяков и режиссеры, ставившие по ним фильмы, сценарий «Слепая» написан одним Третьяковым. Писатель вполне овладел языком кино, он умело пользовался средствами кинематографической выразительности.

За постановку сценария взялся оператор Михаил Константинович Калатозов. Но фильм выпущен не был. В статье-обзоре московской газеты читаем: «Режиссер-оператор М. Калатозов в своем фильме «Слепая» произвел ряд формальных экспериментов, но эти эксперименты были развиты на формалистском фоне (Так! — А. Ф., И. Р.). Композиция кадра здесь подчинена разнообразным трюкам операторского мастерства, монтаж кадров потерял социальную осмысленность, отдельные кадры смыслово не связаны со стержнем темы»¹⁶.

К этому утверждению следует относиться с большой осторожностью. Тогда, в начале 30-х годов, многие ретивые сокрушители формализма готовы были видеть его козлы едва ли не в любом произведении, форма которого отходила от привычных стандартов. И теперь мы уже не можем определить долю истины в высказывании автора, скрывшегося за пининалами. Но, по крайней мере, оно помогает понять, что было вменено в вину фильму и почему он «не состоялся».

¹⁵ М. Ш-р (по-видимому, кинокритик М. Шнейдер). Газ. «Кино», М., 1928, 30 октября.

¹⁶ А. Д. Творческие пути грузинского кино в борьбе с формализмом, упрощенчеством и псевдоэзотикой. Газ. «Советское искусство», М., 1931, 3 июля.

Новейший историк грузинского кино пишет, что «Слепую» сейчас с восхищением вспоминают современники и создатели фильма (для них до сегодняшнего дня остается тайной, в чем заключался его формализм). Быть может, грузинское киноискусство в силу слепой случайности или модного чудачества потеряло шедевр?»¹⁷.

Третьяков побывал в Сванетии еще раз — в 1929 году. После второй поездки он рассказывал: «Я только недавно кончил писать сценарий о пуде соли, которая в преддверии Сванетии стоит рубль, а привезенная в глубину Сванетии на конских выюках обрастает еще пятью рублями фрахта»¹⁸. Этот сценарий лег в основу фильма «Соль Сванетии» или «Джим Швантэ» (то же — на сванском наречии). Фильм поставил М. Калатозов и снял его в качестве оператора вместе с Ш. Гегелашвили. К материалам, оставшимся от «Слепой», Калатозов присоединил кадры снятого им видового фильма о Сванетии. Так был создан фильм, ставший классическим.

Исследователь творчества Калатозова Г. Кремлев писал: «Первая и большая победа молодого Калатозова заключалась в том, что ему удалось понять и освоить очень важные для всего произведения творческие, стилевые особенности своего соавтора (Третьякова — А. Ф., И. Р.) — тоже молодого, но уже знаменитого и прославленного. А главное, не только понять, но и сохранить на экране, найти им, очень «словесным», зримое выражение. Силевые особенности Третьякова как автора сценарного замысла «Джим Швантэ» наиболее отчетливо и в форме, удобной для усвоения, прежде всего выражены титрами [...]. Многие стилевые особенности надписей, конечно, нашли самое непосредственное и самое прямое (без деформации) отражение в изобразительной части. Можно без ошибки указать кадры, идущие прямо «от Третьякова». Можно почувствовать влияние его манеры и в построении многих кадров, и в подборе изобразительного материала, и в темпе монтажных вставок — во многих прямых результатах работы Калатозова-оператора и Калатозова-режиссера»¹⁹.

¹⁷ Натиа Ампрэджиби. На заре грузинского кино. Изд. «Хеловнеба», Тбилиси, 1978, с. 109.

¹⁸ Третьяков С. В переулках гор. Очерк. Журнал «Молодая гвардия», М., 1930, № 4, с. 95.

¹⁹ Кремлев Г. Михаил Калатозов. М., 1964, с. 26—27, 29.

Сценарий «Соль Сванетии» разыскать не удалось димому, он не сохранился. «Соль Сванетии» вышла на экран в 1930 году.

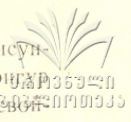
Изобилие кадров натуральных съемок приближало «Соль Сванетии» к документальному фильму. Как Шенгелая в «Элисо», так и Калатозов в «Соли» показывал горы Кавказа без традиционно-го прежде бездумного любования их красотами. Впрочем, конечно, зритель восхищался величественной красотой природы Сванетии — эту красоту впечатляюще передали Калатозов и его сотрудник — известный художник Давид Какабадзе. Но здесь была и обратная сторона; камень, снег, лед, горные потоки, производившие такое чарующее впечатление, оказывались причиной вековой отсталости края, отрезанного ими от остальной Грузии, от культурной жизни, причиной страшной бедности, дикости. Прекрасная природа не раз оборачивалась несчастьем для людей, заставляла их вести с нею борьбу. В фильме перед зрителем со всей силой предстал драматизм жизни сванов и драматизм этой борьбы.

Ярко были показаны этнографически своеобразные детали быта, но этот показ не становился самоцелью. От частных создателя фильма шли к обобщениям, вели зрителя к мысли о том, что человек не должен оставаться невольником суровой природы и рабом унижающих его стародавних обычаев. В фильме были подлинно поэтические образы, ряд блестящих режиссерских и операторских находок. Динамика внутри отдельных кадров и в смене их порождала напряженный волнующий ритм фильма.

Сценарий фильма «Хабарда!» написали совместно Третьяков и постановщик фильма Михаил Эдишерович Чнаурели. О «Хабарде» Чнаурели говорил: «Темой фильма являлись отщепенцы нашего грузинского общества, которые в свое время вели борьбу против всего русского, а затем механически перенесли эту борьбу и на Советскую Россию. Мне хотелось создать памфлет, высмеять и смехом уничтожить их»²⁰.

Борьба с пережитками буржуазного национализма в двадцатые годы была важной задачей в Грузии, как и в других советских республиках. Шовинисты, чуждые, а часто и прямо враждебные всему подлинно новому, передовому, пытались противопоставить строительству социалистического общества национальные традиции, но не прогрессивные, а обветшавшие, утратившие свое положительное содержание и притом извращаемые

²⁰ Цит. по книге: Маневич И. Народный артист СССР Михаил Чнаурели. М., Госкиноиздат, 1950, с. 36—37.



ими. С большой сатирической силой, в остром гротесковом рисунке изображен в сценарии и в фильме ряд характерных фигур из отживающего мирка шовинистической интеллигенции со всеми ее ответственными подобным людям словоблудием и позерством. В названии «Хабард!» (слово вошло в грузинский язык из восточных языков), означающем «Посторонись!», звучит требование освободить дорогу для нового. В силе социального пафоса, в остроте сатирических характеристик чувствовалось благотворное влияние творчества Маяковского.

Очевидно, не случайно авторы сценария дали «идейному» главарю шовинистов — «ревнителей старины» — имя Луарсаб. Оно напоминает о классическом образе «героя» сатирической повести Ильи Чавчавадзе «И это человек?» — помещику князе Луарсабе Таткарлидзе, туенядце, обжоре и невежде. Луарсаб из «Хабарды» как будто далек от персонажа Чавчавадзе: образованный человек, ведет некое подобие общественной деятельности. Совершенно различна и внешность двух Луарсабов. Но гораздо существеннее общее между ними: оба ненавидят новое и, цепляясь за прошлое, мешают движению общества вперед.

Здесь кинематограф снова обращался к лучшим традициям национальной литературы, но на этот раз в форме не экранизации, а использования классического образа в новом аспекте, переосмысления его в новой исторической ситуации.

Наряду с Луарсабом в сценарии — характерные и заостренные фигуры его почитателей и приверженцев старины: интеллигентов-обывателей и просто бездельников.

Сценарий «Хабарды» имеет подзаголовок «кинопамфлет». Этот жанр давал возможности для широкого и оправданного использования приема гиперболы — и в описовке положений, и в построении действия, а также для введения фантастических в остроумных сценах, занимающих целую часть сценария, — это сон Луарсаба: его личность раздваивается, и он наблюдает собственные похороны.

В постановке «Хабарды» (фильм был показан зрителям в 1931 году) Чиаурели предстает как мастер острой реалистической сатиры. Борясь против буржуазного национализма, Чиаурели в то же время создал подлинно национальный фильм. Уроженец и

постоянный житель Тбилиси, тонкий наблюдатель и знаток своего родного города, он в колорите местности, в архитектуре города, в массе людей выделял специфическое, национальное, социально характерное. В этом помог ему художник фильма, великолепный, глубоко национальный мастер живописи Ладо Гуднашвили.

Тема современности — советской современности Грузии, победоносно противостоящей жалким потугам отщепенцев повернуть страну назад, была подчеркнута в картине тем, что Чиаурели удачно ввел в нее отрывки из документальных фильмов, показывающие различные эпизоды советского строительства.

Фильм «Хабарда!» был видным явлением в киноискусстве начала 30-х годов. Большое значение имел он и для творчества самого Чиаурели. Сатирическая линия фильма, созданного в сотрудничестве с Третьяковым, получила развитие в некоторых дальнейших произведениях режиссера.

С. М. Третьяков как автор сценариев был инициатором создания трех выдающихся грузинских фильмов.

Сценарии Третьякова активно способствовали обновлению и обогащению грузинской кинематографии. Три из них, написанные на темы советской современности, — «Слепая», «Соль Сванетии» и «Хабарда!» разрабатывали на материале из жизни Грузии разные стороны проблемы борьбы нового со старым, столь актуальной в первые периоды советского строительства. Сценарий «Паровоз Б-1000» охватывал в едином действии прошлое и настоящее. В «Элисо» был дан образец новой трактовки классического наследия.

Третьяков стремился в той мере, в какой это позволяли сюжеты его сценариев, опираться на реальные факты действительности — современной и прошлой — и это ему во многом удалось. В сценариях проявились и другие стороны третьяковской драматургии — острота развертывания сюжета, четкость обрисовки персонажей, высокая культура слова (ярко выраженная в титрах).

В оздоровлении и подъеме грузинской кинематографии конца 20-х—начала 30-х годов сценарии Третьякова, как и его деятельность консультанта, сыграли положительную роль. И это не раз отмечали историки грузинского кино.

В наши дни обозреватель путей грузинского кинематографа называет «три фильма, которые с наибольшей наглядностью представляют те идейно-эстетические основы, из которых выросло грузинское кино»²¹. Эти фильмы — «Элисо», «Хабарда!» и «Соль Сванетии». Таким образом, Третьяков — автор их сценариев благотворно повлиял на дальнейшее развитие грузинской кинематографии.

Можно надеяться, что предпринимаемый московским издательством «Искусство» выпуск собрания сценариев С. М. Третьякова и его статей о кино поможет широким кругам читателей ознакомиться с этим ценным вкладом талантливого писателя в советскую культуру.

²¹ Маматова Лилия. Грузинское кино: к проблеме традиций. Журнал «Искусство кино», М., 1979, № 12, с. 79.



ПИСАТЕЛЬ, УЧЕНый, ГРАЖДАНИН

Георгию Шалвовичу Цицишвили исполнилось 60 лет. Как-то не верится, когда говоришь это по отношению к Юре (так любовно называют его близкие и друзья) — человеку, которого природа щедро одарила неумной жизнерадостностью и жизнеутверждающей силой, искрометной творческой энергией, умением увлечь за собой не только своих сверстников, но и молодежь.

Писатель, ученый, гражданин, Г. Ш. Цицишвили — всегда на переднем крае борьбы. Уже в июне 1941 года студентом был мобилизован в Красную Армию, сражался на Ленинградском, Волховском и Северном фронтах. Участник героической обороны Ленинграда, он прошел славный путь от рядового солдата до командира отдельного

артиллерийского дивизиона. Г. Ш. Цицишвили находился на фронте вплоть до окончания войны, был удостоен боевых орденов и медалей, демобилизовался к концу 1946 года.


Сегодня Г. Ш. Цицишвили сменил автомат на перо. Патриот, коммунист — он участник многих крупнейших форумов писателей и ученых как в нашей стране, так и за рубежом. И всюду во весь голос звучит его страстное, веское, глубоко аргументированное слово во славу грузинской и всей многонациональной советской культуры.

Иногда невольно думаешь, что он просто не щадит себя. Несколько дней назад вернулся из Болгарии и почти сразу же вылетел в Мексику, где достойно представлял многонациональную советскую литературу. Все это происходит потому, что

Г. Ш. Цицишвили просто не может жить по-иному, спокойно, в тиши отгороженного от мира и людей кабинета. Нескончаемые контакты, встречи, бескомпромиссные споры, дружеские вечера, стремление быть в самой гуще нашей жизни, держать руку на пульсе ее времени — в этом весь Юра, и это одна из блестящих граней его общепризнанного таланта организатора и руководителя.

Г. Ш. Цицишвили является секретарем правления Союза писателей Грузии, членом правления Союза писателей СССР, членом Совета по критике СП СССР и Совета по украинской литературе СП СССР, депутатом Верховного Совета Грузинской ССР, членом Тбилисского горкома Компартии Грузии. Добавьте к этому, что член-корреспондент АН ГССР, доктор филологических наук, профессор Г. Ш. Цицишвили — член ряда ученых советов, читал лекции в Тбилисском государственном университете, Тбилисском государственном педагогическом институте им. А. С. Пушкина, в Тбилисском театральном институте им. Ш. Руставели, в настоящее время руководит ведущим отделом литературных взаимосвязей народов СССР Института истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН ГССР.

В доме у Г. Ш. Цицишвили есть комната, сплошь уставленная стеллажами. Все они заполнены папками с его рукописями. Просто диву даешься, когда успевает этот человек творить, если

каждый день его жизни  наполнен до предела. И это вторая, не менее блестящая грань таланта писателя и ученого.

Путь Г. Ш. Цицишвили в науку характеризовался свойственными ему устремленностью, высокой одаренностью и редчайшим трудолюбием. Только в 1950 году демобилизовавшийся майор кончает филологический факультет Тбилисского государственного университета и поступает в аспирантуру АН ГССР. В 1953 году он досрочно защищает кандидатскую диссертацию и начинает работать в Институте истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН ГССР. Здесь он прошел все ступени — от младшего и старшего научного сотрудника, ученого секретаря института до заместителя директора по научной части.

В 50-х годах одной из актуальнейших проблем советского литературоведения становится изучение литературных взаимосвязей. В Грузии работа в этом направлении началась еще в прошлом столетии. В советское время отдельные ученые успешно продолжали ее. Однако необходимо было создание центра, который координировал и сконцентрировал бы всю работу по изучению литературных взаимосвязей. Такой центр решено было создать в Институте истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН ГССР. Создание его было поручено Г. Ш. Цицишвили. Когда в 1960 году в институте был создан отдел

литературных взаимосвязей, который ученый возглавляет по сей день, он насчитывал несколько молодых энтузиастов, в основном без ученых степеней и без всякого серьезного опыта работы. Тут то во всем блеске раскрылся талант Г. Ш. Цицишвили как организатора и научного руководителя. Под его научным руководством было защищено 5 докторских и свыше 20 кандидатских диссертаций, сотрудники отдела издали десятки интересных книг и монографий, вышло в свет 7 капитальных томов издания отдела — «Литературные взаимосвязи» и т. д. Научные кадры, заботливо выпестованные Г. Ш. Цицишвили, работают сегодня не только в родном институте, но и во многих научных учреждениях и учебных заведениях Грузии. Они составляют большой отряд талантливых специалистов, внесших и вносящих весомый вклад в благородное дело изучения литературных взаимосвязей грузинского народа с народами СССР и мира. Поэтому вполне правомерно сказать сегодня о том, что в нашей литературоведческой науке создана, ширится и крепнет школа Г. Ш. Цицишвили.

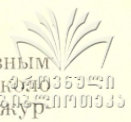
Профессор Г. Ш. Цицишвили — автор свыше 100 научных трудов, в том числе 20 книг и монографий. Его исследования посвящены важнейшим вопросам истории новейшей и советской грузинской литературы (монографии о Ч. Ломтатидзе, Ш. Дадиани, С. Шанцишвили, Г. Баазове и др.), грузинской драматургии («Об идейности и ху-

дожественности современной грузинской драматургии», «Грузинская советская драматургия» и т. д.), литературным взаимосвязям («М. Горький», «Грузинская обшественность и М. Горький»), теории литературы («Вопросы формы и содержания художественного произведения», «Вопросы генезиса и специфики творческого метода советской литературы», «Вопросы мастерства и идейности современной грузинской литературы»), проблемам театроведения («Вопросы грузинской драматургии и театра», «Васо Годзишвили»).

Разумеется, мы назвали далеко не все книги профессора Г. Ш. Цицишвили, но и этот перечень свидетельствует о том, сколь широки творческие интересы ученого. Его аналитические исследования внесли важный вклад в грузинскую советскую науку о литературе, привлекли внимание широкой общественности глубоким проникновением в малоисследованные или вовсе не изученные проблемы.

Каждая монография, книга, статья профессора Г. Ш. Цицишвили отличается методологической четкостью, новизной критического анализа, тонким литературоведческим мастерством и философско-эстетической обоснованностью.

Многогранность таланта Г. Ш. Цицишвили ярко проявилась и в счастливом сочетании научного творчества с художественным. Он автор великолепных рассказов и повестей, вошедших в завоевавшую широкую популярность книгу «Любовь



поры кровавых дождей». То, что Г. Ш. Цицишвили пишет о войне, — не удивительно, ведь он прошагал все ее огненные версты. Удивительно другое — взгляд на мир, которым характеризуется его книга. Г. Цицишвили пишет не столько о войне, сколько о человеческой любви в эту самую трудную пору. Именно любовь, а не война — главное для автора этих замечательных произведений. Перу Г. Ш. Цицишвили принадлежит интересный психологический роман «Одолей алчность свою».

Художественные произведения и научные исследования Г. Ш. Цицишвили переведены на русский и другие языки народов СССР, а также ряда зарубежных стран.

Большой вклад внес Г. Ш. Цицишвили и в развитие современной грузинской журналистики. Мы имеем в виду не только то, что Г. Ш. Цицишвили на протяжении многих лет активно публикуется в литературной прессе как автор многих интересных литературно-критических статей, очерков, рецензий и эссе, что он является членом редакционных коллегий ряда периодических изданий («Литературная Грузия», «Цискари», «Дом под

чинарами» и др.), а главным образом то, что он около десяти лет возглавлял журнал «Литературная Грузия», многое сделав для того, чтобы поднять его на должную идейно-художественную высоту. Журнал, популяризирующий на русском языке лучшие достижения грузинской духовной культуры, дружбу и братство советских литераторов, получил еще более широкий всесоюзный резонанс.

Говоря о Г. Ш. Цицишвили, нельзя не сказать несколько слов о его отзывчивости, доброжелательности, отеческой заботе о молодежи. Все, кто имел счастье общаться с ним, неизменно поддадал под обаяние его личности. Поэтому шестидесятилетний юбилей ученого и писателя — это радостный день для читателей и почитателей его таланта.

Так пожелаем же дорогому другу, замечательному литературоведу, критику, писателю и общественному деятелю Г. Ш. Цицишвили новых творческих побед, новых свершений во славу любимой им Грузии, во славу всей советской науки и литературы.

**Игорь БОГОМОЛОВ,
Роман МИМИНОШВИЛИ**

Коллектив редакции журнала «Литературная Грузия» сердечно поздравляет Георгия Шалвовича Цицишвили, в течение многих лет возглавлявшего наш журнал, со славным 60-летием и желает ему долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.

ВСТРЕЧИ С ПОЭТОМ

ЛЮБИТЕЛИ поэзии принимали в Тбилиси известного советского прозаика и поэта Булата Окуджаву.

В Большом концертном зале Грузинской государственной филармонии состоялся авторский вечер Б. Окуджавы.

В программу вечера вошло все лучшее из поэтического и музыкального творчества поэта-исполнителя.

Этот вечер предоставил возможность поближе познакомиться с творческой лабораторией поэта. Б. Окуджава рассказал о своих дальнейших творческих планах, поделился мыслями о своем новом романе «Свидание с Бонапартом», с которым читатели смогут познакомиться в нынешнем году на страницах журнала «Дружба народов».

Интересно прошла встреча Б. Окуджавы со студентами и профессорско-преподавательским составом Тбилисского государственного университета. Студенческая аудитория познакомилась с лирическими стихами поэта, который исполнил их в свойственной ему манере.

* * *

9 ФЕВРАЛЯ кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии

Грузии Э. А. Шеварднадзе принял Б. Окуджаву. Состоялась беседа о путях развития современной советской литературы — литературы социалистического реализма. На данном этапе, говорилось во время встречи, одна из актуальных проблем современной литературной жизни — активизация переводческой деятельности. С художественным переводом связаны взаимобогащение наших литератур, общность творческих устремлений.

Сегодня, было особо подчеркнуто на встрече, мы с гордостью вспоминаем богатые традиции русско-грузинских литературных взаимосвязей, сыгравших огромную роль в укреплении дружбы двух народов, скрепленной два столетия назад Георгиевским трактатом.

Товарищ Э. А. Шеварднадзе пожелал Б. Окуджаве дальнейших творческих успехов на благо нашей многонациональной литературы.

В беседе принял участие заведующий отделом культуры ЦК КП Грузии Н. Ш. Джанберидзе.

* * *

БУЛАТ Шалвович Окуджава встретился с сотрудниками и активом редакции журнала «Литературная Грузия». Гость поделился своими творчески-

ми планами, рассказал о том, над чем он сейчас работает.

Булат Окуджава проявил живой интерес к литературному процессу в Грузии, интересовался, какие произведения грузинских коллег появятся в ближайшее время на страницах журнала.

Сотрудники редакции ознакомили гостя с планами редакции, рассказали ему о том, какие произведения грузинских поэтов и прозаиков имеются в редакционном портфеле. Булат Окуджава ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

Прощаясь с сотрудниками редакции, Булат Окуджава обещал прислать свои новые стихи и рассказы.

«ПРЕКРАСЕН, КАК САМА ГРУЗИЯ!»

В МОСКВЕ в Колонном зале Дома Союзов состоялся торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося грузинского поэта Галактиона Табидзе.

На юбилейном вечере присутствовали кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр культуры СССР П. Демичев, секретарь ЦК КПСС М. Зимянин, заведующие отделами ЦК КПСС Б. Стукалин, В. Шауро, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. Ментешашвили, заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС А. Беляев, секретари ЦК КП Грузии Д. Патиашвили, С. Хабеишвили, первый секретарь Абхазского обкома КП Гру-

зии Б. Адлейба, заведующий отделом культуры ЦК КП Грузии Н. Джанберидзе, постоянный представитель Совета Министров Грузинской ССР при Совете Министров СССР Т. Хачидзе.

Торжественный вечер вступительным словом открыл секретарь правления Союза писателей СССР, Герой Социалистического Труда А. Сурков.

«Руставели, Гурамишвили, Бараташвили, Чавчавадзе, Церетели, Важа Пшавела, Табидзе, — подчеркнул он, — это то негасимое созвездие на небосклоне Грузии, которое видно со всех концов планеты. Галактион — так просто, по имени называют его в Грузии. И не спутают его ни с кем.

Мне выпало счастье не раз видеться с Галактионом — величественным и добрым, мудрым и сосредоточенным... И каждый раз, восхищаясь им, я убеждался — Галактион прекрасен, как сама Грузия».

Слово о поэте на вечере произнес секретарь ЦК КП Грузии Г. Енукидзе.

На вечере также выступили председатель Совета по грузинской литературе при Союзе писателей СССР Е. Евтушенко, секретарь правления Союза писателей СССР, известный украинский поэт В. Коротич, Герой Социалистического Труда, народный поэт Дагестана, лауреат Ленинской премии Р. Гамзатов, секретарь правления Союза писателей Армении А. Григорян, секретарь правления Союза

писателей Азербайджана Э. Элчин.

За большую любовь к грузинской поэзии, к ее ярким представителям участник в вечера поблагодарил секретаря правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили.

«Есть глубокая символика во всем том, что происходит сегодня здесь, в этом зале, — сказал он, — это эхо нашего недавнего праздника — 60-летия образования СССР. Оно еще раз показало всему миру,

какими глубокими и неразрывными нитями связаны братские народы Советского Союза. Галактион Табидзе навсегда поселился в сердцах грузин. Значит, ему открыты сердца всех советских людей».

Затем состоялся большой концерт, в котором главенствовала поэзия Галактиона. Лучшие певцы исполняли песни и романсы на его стихи. Поэты читали свои переводы из Галактиона.



На 1-й стр. обложки — офорт Г. Д. Гигаури «Рука создателя».

Сдано в набор 28.XI.82 г. Подписано к печати 15.II.83 г. Формат 84×108¹/₃₂. УЭ 012013. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 9,4. Тираж 8600 экз. Заказ № 3065. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ.

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ [ответственный секретарь], Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ [заместитель главного редактора], Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

26-83

65 к.

83-154



ИНДЕКС 76147
802-0101033

